

«Петербургский дневник» представляет

Михаил  
Кураев



Прозаик и киносценарист.  
Родился в 1939 году  
в Ленинграде, в семье инженера.  
Ребенком пережил блокаду.  
Более 25 лет работал  
на киностудии «Ленфильм»  
в сценарной коллегии



# БЛОКАДА



Писатели на войне, писатели о войне

Писатели на войне, писатели о войне

Михаил Кураев

**Блок-ада**

«Информационно-издательский центр  
Правительства Санкт-Петербурга»

2015

УДК 94(47).084.8  
ББК 63.3(2)622.11

**Кураев М. Н.**

Блок-ада / М. Н. Кураев — «Информационно-издательский центр  
Правительства Санкт-Петербурга», 2015 — (Писатели на войне,  
писатели о войне)

ISBN 978-5-91498-060-0

«БЛОК-АДА», непривычным написанием горестно знакомого каждому ленинградцу слова автор сообщает о том, что читателю будет предъявлен лишь «кусочек» ада, в который был погружен Город в годы войны. Судьба одной семьи, горожанина, красноармейца, ребенка, немолодой женщины и судьба Города представлены в трагическом и героическом переплетении. Сам ленинградец. Михаил Кураев, рассказывая о людях, которых знал, чьи исповеди запали ему в душу, своим повествованием утверждает: этот Город собрал и взрастил особую породу людей, не показного мужества, душевного благородства, гражданской непреклонности. Только они, не мыслившие ни для себя, ни для Города неволи, порабощения врагом, могли выстоять в самую тяжкую и, казалось, безысходную пору.

УДК 94(47).084.8

ББК 63.3(2)622.11

ISBN 978-5-91498-060-0

© Кураев М. Н., 2015

© Информационно-издательский центр  
Правительства Санкт-Петербурга, 2015

## Содержание

ЗАЧЕМ ЗАЩИЩАТЬ ЭТИ КАМНИ?	5
БЛОК-АДА	8
СВИДЕТЕЛИ НЕИЗБЕЖНОГО	45
БЛОКАДНЫЕ ВЕСЫ	63
ПЕТЕРБУРГ – ЛЕНИНГРАД. СТОЛКНОВЕНИЕ МИФОВ	89
МАЛЕНЬКАЯ СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА	94

# Михаил Кураев

## Блок-ада

### ЗАЧЕМ ЗАЩИЩАТЬ ЭТИ КАМНИ?

Камни, поверженные погромщиками на Серафимовском мемориальном кладбище, падали не шумно, но их падение отозвалось гневом и громким возмущением и в прессе, и в сердцах горожан. Камни водружены на место, но есть раны, заживающие на теле быстрее, чем в душе.

Бесчинство на любом кладбище – свидетельство одичания, но вакханалия, учиненная рядом со свежими могилами моряков «Курска», рядом с братскими могилами многих тысяч безымянных мучеников блокады, – свидетельство особого рода цинизма, это вызов.

«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости». Диагноз Пушкина лаконичен и точен. Увы, набег диких орд на питерские кладбища в последние годы вовсе не редкость. В проявлениях вандализма спешили видеть лишь националистическую или мародерскую подоплеку, и «все» становилось ясно. Но вот всплеск «бескорыстной» дикости и озверения.

Что же ясно теперь?

Мы имеем проявление очень глубокой и очень опасной болезни, способной порождать неконтролируемые и непредсказуемые вспышки террора. Как возник, откуда пошел этот огонь, опустошающий души, испепеляющий память, обращающий людей в не людей? Это расплата за общественное лицемерие, это расплата за покушение на историческую память.

О лицемерии чуть позже, сначала о памяти.

Сегодня уже двадцать – двадцать пять лет тем, кто знакомится с историей «этой страны», как цинично величают временные жители наше Отечество, по хохмам эстрадных трепачей, по приколам, по продукции забавников и затейников на исторические темы.

Человек, которого никак не заподозришь в отсутствии чувства юмора, советский Свифт, Евгений Замятин, предупреждал: «Во всякую шутку неявной функцией входит ложь».

Забавники, затейники и хохмачи стали действительно властителями дум. История для них – лишь повод для приколов. Победил бы Карл под Полтавой, хи-ха-ха, жили бы как шведы! Не противились бы японцам, ха-хи-хи, жили бы как японцы! Не победили бы немцев, все ходили бы в «бундосовом прикиде». Ха-ха-ха...

Как отделить черное от белого, как понять, где избыток чувства юмора оборачивается глумлением, где веселый треп становится паскудством...

«Зачем, дядя, так резко? Вот мы за «Клинским» сбегали и оттягиваемся. А тебе можем натянуть вот это на это!» Шпана на Серафимовском ведь тоже «оттягивалась».

Где, на каком рубеже самоирония, свидетельство прежде всего духовной силы, оборачивается самоуничижением, самооплевыванием, свидетельствующими о плебейском заигрывании с сильными в расчете на барскую улыбку, а то и благодарность. Недаром же греческие мудрецы меру и соразмерность считали ключом мироустройства. На каком слове игра, по пословице, уже не ведет к добру? Может быть, заигрались?

Антон Павлович Чехов, знавший и человеческую природу, и нас, своих соотечественников, предупреждал о том, что свободой слова воспользуются прежде всего те, кому не хватало свободы для клеветы.

«Чехов против свободы слова?!»

Успокойтесь, истерические защитники демократических ценностей, не вам Чехова подозревать и держать на примете. Вы сами знаете да умеете при надобности забывать о том, что

любое лекарство может стать опасным. А уж блокадникам ли не знать, что при алиментарной дистрофии кусок свежего хлеба может спасти, а может и убить человека.

Для людей, пребывающих в состоянии нравственной дистрофии – а болезнь эта приобретает эпидемический характер на всех социальных уровнях, – все, что здоровому впрок, грозит разложением заживо.

«Ах, вон оно что! Свобода ему все-таки не нравится!»

Свобода для шпаны, свобода для бандитов, свобода для издевающихся над миллионами людей экспериментаторов уже нового призыва, свобода для паразитирующих на людских бедах барышников, свобода оболванивания и оскотинивания людей – не нравится, ничего не могут поделать. И общество, не способное защититься от лжи и насилия, тоже не нравится.

Можно метать стрелы и пламенеть гневом в адрес одичавших молодых людей, для которых действительно уже нет ничего святого. Да вот только росли они и видели перед собой примеры и образцы лицемерия тех, кто, «возрождая Россию», загнал за черту бедности половину населения, тех, кто учинил ваучерную разворовку, кто не может гарантировать безопасность ни политику, ни банкиру, ни садоводу. Приватизация создала экономическую базу криминалитету, но итоги ее святы! Борьбу с криминалом первый президент свободной России не счесть сколько раз брал под личный контроль.

«Им можно, – рассуждает вступающий в эту жизнь молодой человек, думающий «делать жизнь с кого». – Им можно врать нагло и многократно, присваивать не своим трудом созданное, объявлять накануне крушения рубля о его небывалой крепости. Распределяя кредиты, инвестиции, компенсации узникам фашистских лагерей, они бегут впереди воров: а я-то чем хуже?»

Когда я был в Ставропольском крае, казаки рассказывали о постоянных набегах вооруженных банд с чеченской стороны.

– Почему не даете отпора? Вы же казаки!

– Нам запрещено иметь оружие.

– А им не запрещено?

– Нам объяснили: оружие является частью чеченского национального костюма.

Потом эти же слова я услышал от уважаемого правозащитника из Москвы: «Военные атрибуты всегда были традиционной деталью национального костюма чеченца!»

– Гранатомет!? Автомат!? Миномет!?

– Но это же мы им все оставили. Сами же вооружили.

Да, у этих господ на все есть много-много слов, они и работоторговлю, не моргнув глазом, отнесут в разряд бытовых традиций свободолюбивого народа.

Знают ли сегодня о том, что предшествовало этой проклятой чеченской войне? Знают ли о том, сколько лет творились бесчинства в русских станицах, отданных в прежние времена в социалистическую Чечено-Ингушетию? Кто предъявлял обществу списки убитых и изнасилованных, ограбленных и выгнанных из жилищ? Оказывается, нас все это интересует так же мало, как свободолюбивого лорда Джадда.

И о чеченской войне, и о тех, кто ее спровоцировал, кому нужна была «черная дыра» для перекачки несметных денег, знал генерал Рохлин, хотел знаниями своими поделиться, но... жена, как пытаются нас уверить, ему этого не позволила. И новейшую, на наших глазах происходящую историю от общества прячут, превращают в материю для нового платья новоявленных королей и магнатов.

Надо ли удивляться, что не только московские школьники, но и подчас почтенные люди не знают, зачем защищали «эти камни», почему Ленинград стоял насмерть.

Хохмы и приколы по поводу всего на свете, в том числе и о войне, знают, а что действительно ждало город и его жителей, узнать недосуг.

А ленинградцев убивали не только в Ленинграде.

... В апреле сорок второго по льду, уже покрытому полуметровым слоем воды, выезжали из города через Ладогу детские дома Кировского района. Вырвались и двинулись на Кубань. В станице Родниковской Краснодарского края эшелон с ребятами из блокадного Ленинграда встречали рано утром молоком, медом, орехами и первой редиской. Встречали как родных. В станице нашли приют два ленинградских интерната.

В августе немцы прорвались на Кавказ. Директор интерната № 41 Вера Ивановна Чернуха вывела своих воспитанников, бросив все имущество, все пожитки. На открытых платформах с военным грузом последним эшеленом, уходящим из Родниковской, она вырвала ребят из западни.

Судьба второго интерната, не сумевшего покинуть станицу, как в капле крови отразила судьбу, уготованную гитлеровцами нам, ленинградцам. Сначала были уничтожены дети. Сотрудники были заключены в лагерь, затем задушены в газвагонах.

Впрочем, можно почитать и сентябрьские директивы Гитлера, еще в сорок первом году подписавшего приговор городу и нам.

В основе фашистского мировоззрения и вождя людоедами мироустройства лежит агрессивное скотство, основанное на «глубоко научном» утверждении исторического превосходства одного вида над другим. Откуда же взялось это чувство превосходства у тех, кто своими ногами, а следы ног на порушенных надгробиях отчетливо видны, сделали то, что могла совершить лишь нога оккупанта?

Дошутились. Доигрались. Доизверглись в оправдании свинства и скотства.

Человек рождается существом довольно беспомощным. Немногие дети, в младенчестве ставшие приемными детьми у животных и выжившие, не только не смогли, попав к людям, выучиться говорить, но и ходить на двух ногах не смогли, освоив с ранних лет удобство передвижения на четвереньках. Ромул и Рэм, Маугли, увы, это сказки. Человек может стать человеком лишь в сообществе людей.

Вот и нелюди произрастают и благоденствуют не в безвоздушном пространстве, а на нашей сугубо грешной и грехов своих не желающей знать земле. И что бы ни говорили, битва ленинградцев за свой город, борьба всей страны за Ленинград, за свободу и независимость Родины, как тогда говорили, была войной за наше человеческое достоинство.

И пока животное, скотское, дикое будет стремиться утвердить свое наглое превосходство, и не только на кладбищах, войну, быть может, рано считать оконченной и город и его камни защищенными.

## БЛОК-АДА

### Праздничная повесть

*... аща сии умолчат, камень возопиет.  
Ев. от Луки, 19:40*

Магушка моя принадлежала к «тем редким натурам, к которым природа и судьба являют свою щедрость и благосклонность, не сомневаясь ни на одно мгновение в том», что дары, врученные своему избраннику, вручены созданию истинно благородному и не будут употреблены сколько-нибудь недостойно.

Наделенная редкой внешностью, она несла дарованную ей красоту с царственной легкостью, с той естественностью, которая свойственна лишь подлинным созданиям природы, нисколько не озабоченным тем, чтобы прилагать усилия для привлечения к себе внимания.

По нынешним временам женщина, располагающая хотя бы четвертой частью маминой привлекательности, но лишенная ее душевной конституции, проходит длинной чередой мужей и ко времени пышного увядания накапливает изрядную библиотеку романов самого неожиданного свойства.

Мама вышла замуж довольно поздно и лишь один раз.

Еще живы предания об отвергнутых соискателях маминой руки, в том числе и о капитане дальнего плавания, водившем грузопассажирский пароход «Алексей Рыков», украшенный одной, но очень внушительной высокой трубой, в Англию и Германию.

«Мама, почему ты не вышла замуж за этого Костю?»

«Он был очень длинный, как труба на его «Рыкове». Я стеснялась с ним на улице появляться, все оборачивались. Куда ж это годится?»

Потом «Алексея Рыкова» переименовали в «Коминтерн», а потом капитана «Коминтерна» расстреляли, наши.

За каждым из претендентов на мамину руку сохранялась неизменная характеристика, звучавшая при просмотре старых фотографий, на которых мама всегда была среди подруг и приятелей.

«Это Кульдинский, ухаживал необыкновенно, но дурак был фантастический, даже на карточке видно... А ведь красивый...»

«Это Виктор, бабушкина симпатия, нравился ей просто ужасно, чудесный, добрый человек, только глаза как у собаки после порки...»

«Леша, ты Леша! Явился объясняться в зеленом галстуке, он о любви, а меня смех разбирает, ну о чем тут было говорить... Как говорится: виноват, что сероват...»

Папа женился на маме, имея в жениховском гардеробе красные трусы, может быть, даже единственные. Эти красные трусы ставились ему на вид всю жизнь. В ответ на это папа требовал мраморный столик, который был обещан в приданое. То, что, кроме мраморного столика, за невестой ничего не было, отца не смущало, но и мраморный столик получен не был, и отец всякий раз требовал его представить, когда мама припоминала ему красные трусы.

«Анечка, Аник, лучше этот разговор не заводить, трусы по крайней мере были, а вот столик я хотел бы наконец увидеть, почему-то за все десять, двадцать, тридцать пять, сорок и, наконец, сорок семь лет! – мне его так ни разу и не показали. Напрашивается мысль: а был ли столик, может быть, это только крутня?»

«У меня такое впечатление, что ты мне не веришь. Я хоть раз за десять, двадцать, тридцать пять, сорок и, наконец, сорок семь лет, хоть раз сказала неправду?!»

«Хорошо, но могу я хотя бы увидеть, только увидеть мой столик?»



Мраморный столик, красные трусы – первая дань, возложенная на жертвенник семейного алтаря, память о чудесной, сказочной игре, которую задумали сыграть отец и мать; реалистические трусы и мифический столик, вам выпала честь стать волшебным паролем, по которому в любую минуту их долгой, никем не предсказанной жизни они могли вернуться в тот миг и час, когда еще ничего не произошло и вся жизнь впереди казалась бесконечной и желанной в каждую свою минуту.

«Ма-а-ам, а почему ты так долго не выходила замуж?»

«Почему это долго, ничего не долго. Как только встретила умного молодого человека, сразу вышла замуж».

«А до папы, что ж, и умных не встречала?»

«До папы нет».

Голос у мамы был не только красив, но и богат оттенками, и владела она им с таким же мастерством, как Мравинский своим оркестром.

При абсолютном слухе и идеальной музыкальной памяти она могла, придя домой из театра или кино, сесть за пианино и сыграть только что услышанную песенку или задевшую душу мелодию со стенографической точностью. Папа, игравший Бетховена, Брамса, Рахманинова, Скрябина только с листа, восхищался маминым слухом и голосом и не то чтобы завидовал, но как бы сетовал на себя, что лишен такого волшебного дара. Разговаривая на самые обыденные темы, лишь благодаря необыкновенным оттенкам своего голоса, она могла просто обворозжить собеседника, если хотела, конечно, или была в том нужда. Можно себе представить, как мама разговаривала с начальником 19-го отделения милиции, когда, вернувшись после эвакуации, пришла для восстановления прописки.

«Все хотят жить в Ленинграде», – сказал начальник милиции и в прописке отказал, видимо, со слухом у него было не все в порядке.

Осанка. Фигура. Стан.

Лучше всего об этом скажет серебряный конькобежец на голубой искрящейся эмали, значок чемпионки Ленинградского торгового порта по скоростному бегу на коньках 1934 года. И даже высокий полный бюст, не часто встречающийся у спортсменок, не мешал маме первенствовать и на средних, и на длинных дистанциях.

Зная маминых сестер и их ленинградских подруг, надо сказать, что и она, и они принадлежали к тем типичнейшим и благородным лицам, обязанным своей культурой, вкусом и нравом не столько происхождению и даже не образованию, тем более не капиталу, но лишь самому городу, где Русский музей, Александринский театр, оперная студия консерватории, Эрмитаж, Мариинка, Филармония были и школой, и университетом, и академией. В Мариинке была освоена галерка, в Филармонии, естественно, места на хорах, в консерваторию вход открывала знакомая билетерша, родная тетка Люси Минкиной.

Поразительно, мама, это с ее-то данными, плюс молодость, женственность, стать, а на места в партере не претендовала!

«Да что там делать, там одно старичье!»

Ну как тут не оглянуться на дам, располагающих всего лишь какой-нибудь необыкновенной мушкой на правой щеке или родинкой под левой грудью и пребывающих благодаря этому счастливому дару в искреннем ощущении своего права не только на исключительное внимание со стороны благоухающих мужчин, но и на целую исключительную жизнь.

Все пригороды и окрестности Ленинграда, Стрельна, Гатчина, Ропша, Павловск, Петергоф, Пушкин были изъезжены и исхожены, и, словно по инерции, летом сорок седьмого и сорок восьмого годов мама возила нас с братом по всем этим местам, предьявляя к обозрению руины, развалины, пепелища, обвалившиеся потолки, обгоревшие стены, груды камней, вызывавшие у нас скуку и недоумение, а у нее – умиление, трепет и воспоминания.

Маминим девизом, повторявшимся с той же частотой, с какой нынче поминаются недосягаемо образцовые «цивилизованные» страны, была бесхитростная формула: «Хочу, чтобы у нас было все как у людей». Девиз этот вовсе не призывал «подражанию, в нем скорее обнаруживался протагоровский смысл, идея человеческого как меры.

Ее вечный вопрос «Ну почему, почему у нас все не как у людей?» был адресован не только папе и нам с братом, а иногда и властям, и даже самому правительству, но никто удовлетворительного ответа на этот вопрос так маме и не дал.

О! Это проклятое «все не как у людей» едва ли не всю жизнь преследовало маму.

Взять те же роды.

Первый раз, когда предстояло разрешиться Сережей, папа отвез маму, как и полагается, в родильный дом на такси. С моим же появлением на свет и тем более с Борькиным все уже обстояло как-то странно, то есть как раз «не как у людей».

Не располагая сколько-нибудь убедительными данными о привлекательности этого мира, я не спешил покидать материнское лоно; прошли все ранние сроки, а потом и средние, и поздние. Скорее всего, в задержке моего появления на свет сказалась та природная нерешительность, что стала чертой характера еще до всяких испытаний и опытов.

Дело было летом, страха и надежды, сопутствовавших ожиданию первенца, у отца уже не было, он был согласен и на дочку, так что сидеть в городе и чего-то ждать не имело смысла. Он подхватил Сергея и уехал с ним на дачу. Но уже вечером в тот же день бабушке пришлось везти маму на трамвае в клинику Отто, что на задах Фондовой биржи, на самой Стрелке Васильевского острова. Место, если правду сказать, примечательное для всей планеты и, может быть, одно из лучших: именно здесь изысканнейшие творения мастеров и художников украсили не по речным законам живущую, могучей силы реку, но и река именно здесь явила все свое величие, став подножием славы и красоты небывалого города!

Да и клиника, полученная лейб-акушером профессором Оттом за особые услуги царствовавшему дому, являла собой безусловное совершенство, вобрав в себя все самые лучшие, самые замечательные средства родовспоможения, вплоть до органа, установленного в специальном зале для музыкального улагодворения рожениц. Орган был настолько хорош, что впоследствии был трансплантирован в Филармонию.

Через два года туда же, в клинику Отта, оставив нас с Сергеем на попечение бабушки, в ноябре сорок первого года матушка двинулась и вовсе пешком.

«Вы кого тут ищите, гражданочка?» – любезно спросили маму в знакомом вестибюле с высоченными потолками военные, одетые в белые халаты.

«Я сейчас буду рожать!» – высоким голосом с достоинством опытной матери объявила матушка.

«Только не здесь, у нас здесь, гражданочка, госпиталь, вам надо на Четырнадцатую линию...»

«Все у вас не слава богу», – с горечью сказала мама, видимо, припомнив, как в этой лучшей клинике на свете своего второго сына, стало быть, меня, ей пришлось рожать в кровати, что и неудобно, и довольно опасно. Все ее сдержанные интеллигентные предупреждения: «Сестрица, я сейчас рожу» наткнулись на суровый окрик сестрицы, не достаивавшей матушку даже взглядом: «Мамаша, проявите сознательность, у нас сложные роды!» Лучше, если бы она эти слова адресовала мне, но я их не слышал. Итак, на помощь со стороны рассчитывать не пришлось, и ничего не оставалось делать, как самостоятельно появиться на свет. И что же? На протяжении довольно-таки длинной уже жизни я пытался не раз и не два привлечь в затруднительных обстоятельствах внимание к своей персоне, но тут же постоянно слышал о «сложных родах», которые без конца идут где-то рядом. Вот и сейчас идут сложные роды явно дебильного капитализма. Слава богу, что Борьку маме не пришлось рожать в вестибюле непревзойденной

акушерской клиники, уже нанесенной на огневой планшет как цель номер 708 батарей 768-го тяжелого артиллерийского дивизиона резерва немецкого главного командования.

Подъехала машина, привезли раненых, раненых было немного, разгрузили быстро.

«О! как раз раненых привезли, мы их сейчас, родимых, быстренько раскидаем и вас подкинем...»

Едва проскочили по Большому проспекту 9-ю линию, как на углу, напротив типографии Академии наук, жажнул тяжелый снарядище. Начинался артобстрел. Опять «все не как у людей».

В родильном доме на 14-й линии прямо из приемного покоя повели в бомбоубежище.

«В подвал, мамаша, в подвал, скоренько-скоренько, от смерти пошли прятаться...»

Говорят, если роженицу испугать, может скинуть, и родимчик, и еще что-то. Маму к этому времени снаряды не пугали, что ли? Или о нас, оставшихся дома, думала. В общем, трудно догадаться, о чем думает молодая женщина перед родами во время артобстрела.

Как только сыграли отбой, сразу на каталку.

«Вот так Боренька и родился... вылитый отец».

Родился Боренька легко. Чтобы дать представление о его сходстве с папой, мама всегда показывала самую их первую фотографию, снимались перед женитьбой; папа толстогубый, лобастый и очень серьезный.

Ленинград мама не защищала и потому, естественно, медали «За оборону», в отличие от своих брата, сестры, племянника, племянницы и золовки, удостоена не была, а до лестного звания «ЖБЛ», «Житель блокадного Ленинграда», просто не дожила. Да и блокады ей досталось всего ничего, с сентября сорок первого по февраль сорок второго года. За считанные эти месяцы только и успела, что одного родить, троих похоронить и двоих спасти, то есть вывезти через Ладогу свою «гвардию», одному «гвардейцу» не было трех, второму исполнилось четыре.

День прорыва блокады и день снятия блокады мама чтит свято, не так, как Пасху или 7 ноября, окна в квартире не мылись и полы не натирались, но в эти дни мама всегда была по-праздничному возбуждена, хлопотлива и готова к приему гостей, если кто заглянет.

Четвертое февраля, день смерти Бори и бабушки, маминой мамы, Ольги Алексеевны, также чтит свято, пеклись блины. А вот день смерти папиной мамы, Кароли Васильевны, пришелся на первое декабря сорок первого года, на годовщину злодейского убийства Сергея Мироновича Кирова, в честь чего многие годы в Ленинграде в этот день на улицах и площадях вывешивали траурные флаги, а с другой стороны, это был день рождения одной из драгоценных родственниц, так что бабушку, конечно, поминали, но отмечались лишь круглые даты.

Крупнейшим событием 1942 года стала смерть бабушки и Бори.

Третьего февраля сорок второго года, вечером, бабушка, уже давно не встававшая и лежавшая на оттоманке для тепла рядом с Борей, родившимся в ноябре, сказала маме: «Анечка, ты не плачь, сегодня ночью мы с Боренькой умрем».

Мама, как человек разумный и единственный из нас пятерых еще державшийся на ногах, произнесла свое обычное: «Не ерунди!»

И в комнате с заледенелыми окнами, с постелями, больше напоминавшими сугробы из одежды и одеял, стало тихо.

Кто-то прошел мимо нашей двери по коридору; протяжное, тягучее шарканье подошв в холодной тишине было отчетливо слышно, казалось, что человек не идет, а его кто-то рывками тянет по полу. Шарканье медленно удалялось, потом отчетливо лязгнул английский замок, это Прасковья Валерианна. Шахмаметьевы накидывали крючок, тоже было слышно.

«Анечка, ты укрой меня чем-нибудь... холодно...»

Мама еще не спала, слышала шаги в коридоре, но бабушкиных слов не услышала. Не расслышала бы, и если б догадалась поднести ухо к самым губам, сморщенной вороночкой опрокинувшимся во впалый рот. Бабушке показалось, что она говорит, но это был уже голос

в том сне, от которого не просыпаются, и холод, подступавший снизу, вкрадчиво, без спешки, был тот холод, от которого ничем не укроешь.

В феврале, в ясный день, в половине девятого утра довольно светло, и хотя окна, заклеенные бумагой крест-накрест, покрытые наледью и отчасти забитые фанерой, пропускали света немного, мама увидела, что Боря и бабушка уже холодные.

Совет бабушки не плакать, представьте себе, мама выполнила и заплакала первый раз после смерти матери, сына и свекрови лишь в конце марта, в Череповце, когда сознание, как можно предположить, уже освободилось от величайшей сосредоточенности выживания и позволило нервам роскошь нормальной реакции на в общем-то довольно печальные события.

Если же говорить строго, в норму все так никогда уже и не вернулось. Мамы не стало в восемьдесят восьмом, через сорок три года после конца войны, а я несколько лет после ее смерти находил в нашей старой квартире, с обилием стальных шкафов, закутков и потаенных мест, кулечки и пакеты из-под сахара, набитые прогорклыми сухарями, нашел какую-то обратившуюся в прах рыбину, замотанную в тряпицу и газеты, наткнулся в самых неожиданных местах на пакетики с ванилином, этим душистым флагом благополучной кухни, а также на разнообразные коллекции мандариновых корок. К сожалению, способ хранения этих потаенных жизненных припасов исключал возможность их употребления в пищу. Больше всего по квартире было запрятано мандариновых корок, и понятно почему. Мама рассказывала, как нашла в блокаду на круглом навершии нашей голландской печки мандариновые корки, закинутые туда из озорства в предвоенное новогодье. Значение этой находки мама явно преувеличивала. А к еде у нее на всю жизнь осталось отношение религиозное, и вовсе не потому, что жили туго, напротив, уж что-то, а стол в доме всегда славился красотой посуды, вкусом в сервировке, изобилием и кулинарной изысканностью яств, – слава богу, отец был и лауреатом, и заслуженным, и директором целого проектного института на Мойке, рядом с Невским.

Но, может быть, самой большой маминой странностью и причудой была «Борина» могила, занимавшая особое место среди разного рода всплесков и фантазий, не всегда безобидных, в общем, нормальным людям не очень-то свойственных.

В этих фантазиях, глубоко внутри, было что-то тяжелое, именно не мрачное, а тяжелое.

Ну откуда могла взяться «Борина» могила, это же смех один, если не то что о двух могилах, о двух гробах и то мечтать было нельзя.

Денег кладбищенские в феврале не брали, то есть брали, конечно, но только в добавку к хлебу. Им же мерзлую землю долбить, тоже надо понимать, тем более что морозы в январе стояли страшные.

Так вот, похоронили бабушку и Борю в одном гробу, Борю положили в ноги и, естественно, в одну могилу, и все равно за двойную плату плюс золотой крестик, поскольку на Смоленском кладбище, выкопавшем к этому времени на правый берег реки Смоленки и широко там разметнувшимся, Борю как прописанного на Васильевском острове, как местного жителя принимать соглашались, а бабушку как прописанную аж в Ленинском районе, на Измайловском проспекте, проспект Красных Командиров в ту пору, у средней дочери Таточки, по суровым законам военного времени принимать отказывались.

С Борей еще ничего, его мама положила между рамами, и он мог лежать хоть до весны, так люди делали, а вот бабушку надо было хоронить. И хоронила ее как раз Таточка, притащившаяся с проспекта Красных Командиров со своим двенадцатилетним сыном Анатолием.

Надо сказать, что по нраву своему Татьяна Петровна, Таточка, была хетагуровкой, так именовались девушки, откликнувшиеся на призыв ехать осваивать Дальний Восток. Осваивать она почему-то не поехала. Собственно, против был Саша, ее муж, а вот поехали бы, может, Саша и уцелел бы, а так его в тридцать восьмом взяли и только в шестьдесят седьмом семье выдали справку на папиросной бумаге в ладошку величиной, где можно было кое-как разобрать, что осужденный по статье такой-то за отсутствием состава преступления посмертно реа-

билитирован на основании постановления такого-то от такого-то числа. Кроме справки, кстати сказать, выдали и самодельный портсигар, деревянную коробочку с крышечкой, очень изящно сделанную, а на крышке из соломки на клею выложен тончайший рисунок: вышка, часовой на вышке, прожектор и ограда из проволоки в два ряда, по тщательности и мастерству просто китайская работа, понятно, откуда у сына Анатолия серьезные художественные наклонности.

В связи со смертью, постигшей бабушку и Борю, Татьяна Петровна развила необыкновенную деятельность, в чем в полной мере проявился ее хетагуровский характер, например гроб достала. С одной стороны, это можно было бы считать и чудом, но ведь в ту пору бывало и так: идет человек, тянет гроб к кладбищу, видит, что ему не дойти, оставляет, куда доедет, и хорошо, если домой отправится, а то здесь же, в сугроб, и ткнется. Находчивые люди такие беспризорные гробы тут же, как нынче говорится, приватизировали с целью выгодной продажи, спрос был, и спрос был большой, а то можно было использовать гроб и как средство обогрева. Предприимчивый человек нигде не пропадет! Был ли у бабушки гроб заказной или second hand, установить трудно, потому что о его происхождении Таточка никогда не распространялась. Гроб вообще-то был немножко великоват, а это верная примета, что покойник еще кого-нибудь с собой прихватит. Так и вышло, в начале апреля Таточка разрешилась Ниной, а летом уже Ниночку пришлось похоронить.

Именно добыча гроба повлекла за собой как следствие необходимость выполнить надлежащий ритуал и похоронить Бореньку и бабушку по-человечески. Не подвернись гроба, может быть, и все как-то решилось бы попроще и не имело продолжения.

Расстелив на полу байковое одеяло, Татьяна Петровна решила помыть Ольгу Алексеевну прямо здесь, в комнате.

На кухне соседи в складчину топили плиту, и можно было пристроиться, чтобы согреть воды. Анатолий хотел натопить снега, чтобы не тащиться на 6-ю линию к пробитому водопроводу, откуда все носили воду, но от растопленного снега, казавшегося, на первый взгляд, идеально белым, вода получилась и грязной, и с нехорошим запахом. Мать погнала за водой на 6-ю линию.

Мертвая бабушка и синий Борька, величиной чуть больше батона, вовсе не вызывали страха. Прирученный к мысли о том, что смерть его никогда не коснется, Анатолий не разуверился в этой мысли и за полгода жизни рядом со смертью. Правда, иногда жить не хотелось, просто не хотелось жить, от мороза, от голода, от пустоты, вдруг пронизывавшей всего насквозь. Тело становилось невесомым, а безнадежность убивала даже желания, и само ощущение жизни как бы исчезало, все предметы, улица, дома, даже собственные руки; ему казалось, он видит откуда-то издали-издали. Но именно в эти минуты мыслей о смерти как раз не было, впрочем, никаких других тоже, было только удивление: куда же я делся, почему все стало так далеко?

Татьяна Петровна, со своим вздувшимся животом казавшаяся все время объевшейся, хотя лицо имела впалое и серое, по возможности сына щадила.

Анатолий таскал воду, грел, но в комнату, где мама мыла бабушку, допускаем не был, только когда умытые, прибранные, бабушка в белом в мелкий горошек платке, а Боря в голубом чепчике и хорошей синей пеленке, лежали рядом, мать позвала Анатолия, чтобы положить «наших милых», как она выразилась, в некрашенный, но вполне добротный гроб. Бабушка, такая небольшая с виду, оказалась тяжелей, чем Анатолий рассчитывал.

На следующий день соседи помогли спуститься с лестницы и закрепить все на санках. Все удивлялись и хвалили Таточку. На улицах постоянно везли покойников, но увидеть гроб в ту пору было уже большой редкостью.

Малый проспект в сравнении с такой богатой магистралью, как Средний, не говоря уже о Большом проспекте, конечно, неказист и берет свое начало от сиротского дома имени Марии Магдалины, куда можно было в прежние времена, не открывая лица и не называя имени, сдать

нежелательного сына или дочку. А заканчивается Малый проспект, словно для аллегии, кладбищами.

Река Смоленка мало напоминает Лету, реку забвения, вытекает она из Малой Невы, как раз неподалеку от дома для брошенных младенцев, самостоятельно впадает в Финский залив и отделяет низменный остров с несуразным названием Голодай от обширного Васильевского острова. Обильные захоронения выходцев из Смоленской губернии, привлеченных к строительству великого города, дали название и Смоленскому полю, кстати сказать, месту казней, речке, вернее, извилистому неширокому невскому рукаву, ну и кладбищам, украсившим нижнее течение реки Смоленки. Говорят, в начальные годы здесь хоронили острожников прямо в кандалах, потом уже пошли смоленчане, еще позднее где-то закопали пятерых повешенных декабристов, а с годами оба берега Смоленки оказались обжиты тремя кладбищами, огромным Православным на левом берегу и двумя поскромней на правом, Армянским и Лютеранским, но даже вместе они не могли удовлетворить в войну всех желающих быть похороненными, пришлось добавлять еще и четвертое, чисто Блокадное.

Разговоры о том, что для блокадников открыли новое Смоленское кладбище, шли уже давно, и дорогу туда найти не составляло труда, хотя передвижение по городу, заваленному снегом, как легко себе представить, было делом непростым, особенно ближе к окраинам. В центре еще кое-где пытались очистить трамвайные пути силами горожан, собранных по трудовой повинности, но смысла в такой работе было мало. Во-первых, с 8 декабря трамвай больше не ходил, а во-вторых, эти трудармейцы махнут лопатой раз-другой, вяло и полусонно, и плетутся куда-нибудь в подъезд погреться, хорошо еще, если сам потом сумеет на улицу выйти...

В январе, начале февраля, да практически весь февраль, в городе было совсем скверно.

Энергии не хватало не то что на трамвай, но и для насосов городской водопроводной станции, потом и для типографии «Ленинградской правды», для хлебозаводов и для городского радиоузла. Радиопередачи, временами едва различимые, подавались то в один, то в другой район города, что было особенно неудобно в связи с постоянными артобстрелами, требовавшими оповещения граждан о грозящей опасности.

Дороги к кладбищам были и накатанными, и наезженными, поскольку поток был большой, особенно по воскресеньям. Зимой еще хорошо, саночки или лист фанеры с привязанной к нему веревкой, а весной? а летом? – повезут на немых тележках, повозках, даже в детских колясках, понесут на носилках, приспособив для такой ноши лестницы; детей понесут на руках, как Таточка понесет Нину. Была организована, разумеется, и коллективная доставка, возами и реже на грузовиках. Гробы были большой редкостью, очень мало, в большинстве своем отмучившихся и отстрадавших заворачивали в простыни, в мешки, отчего они казались буквально снятыми с виселицы где-нибудь на Семеновском плацу или на том же Смоленском поле, поскольку в Санкт-Петербурге вешали цивилизованными способами, то есть в специальных балахонах. Завернутые в одеяла не вызывают таких нежелательных ассоциаций. Прикрывать груды скорбного груза в кузовах и на подводах то ли нечем было, то ли некогда, да и что стесняться, все кругом свои, как говорится, поэтому ограничивались только веревками, которыми кузова и подводы обматывали, чтобы не растерять груз по дороге.

Анатолий и Таточка навалились по-бурлацки на веревки и двинулись по 8-й линии; около часовни, построенной значительно позже собора, сейчас там, кстати, бар и казино, повернули налево по Малому проспекту, хотя можно было пройти прямо, выйти на Уральскую улицу, так было бы немножко короче.

День был ясный, солнечный, небо празднично голубело, и на оборванных трамвайных проводах, на перепутанных проводах уличного освещения искрился иней. Было красиво и немножко таинственно, потому что ощущение жизни как бы исчезало, все предметы, улица, дома, даже город казался давно уже брошенным, из-под сугробов выглядывали заваленные

снегом машины, во вросшем в снег автобусе, за покрытыми изморозью стеклами, можно было различить двух пассажиров, зашедших, видимо, погреться сюда еще месяц назад.

Зима и так сгущает жизнь, а тут еще в такие холода все живое старалось сжаться, скукожиться, затаиться, притвориться мертвым.

Однако проспект нельзя было назвать безлюдным, немного граждан, но были, бродили в поисках воды, везли на саночках обгорелые доски, везли покойников... У булочной неподвижно, словно замерзнув насмерть, стояла очередь человек в тридцать, с утра ждали хлеба. Присыпанные снежком, со спрятанными лицами, они были похожи на тех, кого горами, тоже присыпанных снегом, везли на Голодай.

Между 13-й и 14-й линиями выгорел шестиэтажный домина, выгорел в декабре, тогда еще пытались тушить, судя по огромным сосулькам на черных проемах окон уцелевшей фасадной стены; окна были похожи на глаза с ледяными ресницами.

Ну, выгорел дом и выгорел, но оттого, что его пытались тушить в мороз, вода, вылившаяся на проспект в большом количестве, образовала ледяной каток. Из льда торчали неплохие вещи, выброшенные жильцами на улицу в начале пожара, теперь все вросло в лед, и, чтобы вырвать из ледяного плена ту же швейную машинку, может быть, и не разбившуюся, нужно было поработать ломом и хорошо попотеть. От мебели же остались только торчащие из льда обломки, все, что можно было унести и сжечь, унесли и сожгли.

На ледяном наросте, коварно припорошенном снегом, ноги скользили, санки с гробом выходили из повиновения и норовили опрокинуться. Анатолий три раза шмякнулся, и, не будь на нем надето трое штанов, наверняка бы разбил коленную чашечку. Выручила и лыжная палка, с которой не расставался. Таточка ругала дураков-пожарных, наливших столько воды, а дом не спасших. То, что они отстояли два соседних дома, она в раздражении своем во внимание не брала. Больше всего она боялась обстрела и всю дорогу молила: «Не приведи бог обстрел начнется... куда мы с ними... на улице не бросишь... вмиг гроб упрут... и все насмарку...» Рассуждения вслух, которые бормотала Таточка с придыханием, лишь отчасти напоминали молитву, хотя и перемежались призывами: «Господи, пронеси и помилуй». Не очень-то рассчитывая на чистое милосердие, она вкрапчивала в свое обращение к высшим силам элемент договора: «Господи... только сегодня... без обстрела... Господи... дай похоронить... завтра... да будет воля твоя... хоть целый день стреляй...» Она уже явно заговаривалась, и в хрипловатом голосе, сбивающемся от ходьбы и напряжения, не было ни кротости, ни смирения.

Молитва, надо думать, была услышана, в этот день снаряды рвались только на Выборгской стороне около Финляндского вокзала и на Кировском заводе.

Свернув по 16-й линии направо и оставив слева арку у входа на Православное кладбище, где на мраморной доске написано, что где-то на территории этого кладбища покоится Арина Родионовна, пушкинская няня, Таточка, мелко перекрестившись на храм Светлого Христова Воскресенья, мысленно еще раз попросив у сил небесных помощи в ее тяжком деле, втащила саночки на мост через Смоленку и поволокла дальше, оставив с правой руки Лютеранское и Армянское кладбища, где тоже похоронено множество интересного народу, например основатель Одессы Хосе де Рибас. А тут уже было, как говорится, рукой подать до конторки, построенной перед обширным снежным полем, уходящим в сторону залитого солнцем залива.

Рвы под братские могилы копались медленней, чем шел поток умерших, и потому довольно высокие груды непогребенных так и лежали под распахнутым ослепительно синим небом, лишь милосердно присыпанные снежком. Едва сообразив, что за горы закрывают выход на снежное поле, Анатолий почувствовал, как во рту появилась сладенькая слюнка и остановилось дыхание. Жизненные пары, незримо струившиеся в тщедушной оболочке молодого тела, разом ступились и обожгли холодом изнутри. Хотя умерших он насмотрелся к тому времени вдосталь, но для этого зрелища нужны были недюжинные нервы.

Однако последовавшие события не позволили особенно погружаться в это первое впечатление. Успокаивало еще и то, что он видел, как те, кто так же, как и они с матушкой, везли скорбную поклажу к месту вечного упокоения, держат себя спокойно и деловито. Да, в отличие от старых кладбищ, располагающих к меланхолии и задумчивости, это, можно сказать, бурлило деятельной, энергичной жизнью. С похоронами и в хорошие-то времена всегда хлопот полон рот, а на тощий желудок, когда голова кругом идет, и при крайне стесненных материальных обстоятельствах, конечно, некоторые стороны этого дела просто выпадают из вида; так вышло с этой злосчастной пропиской.

Несмотря на горе, холод и дистрофию, чувство юмора и бойцовских качеств хетагуровки Татьяна Петровна не утратила и на возражения кладбищенских, отказывавшихся принять бабушку, стала тыкать им в нос горами трупов, сваленных по обе стороны конторки на обширном пространстве, даже непонятно было, как далеко это все простиралось.

«А у этих вы тоже прописку спрашивали, прежде чем сюда сваливать?»

«Во-первых, не сваливаем, гражданочка, а складываем, а вот за нарушение порядка в осажденном городе можно и на площадь Урицкого угодить».

Бывшая Дворцовая временно называлась площадью имени Урицкого для увековечения памяти Михаила Соломоновича, убитого на посту председателя петроградской ЧК в подъезде левого крыла здания, полуциркульно обнимающего обширное пространство перед Зимним дворцом.

Еще до войны левое крыло, от арки с шестеркой коней, влекущих колесницу Победы, до Мойки, занимало Управление милиции, учреждение, не в пример нынешним, серьезное и готовое карать как пособников врага даже лиц, переходящих улицу в неполюженном месте или пытающихся создать заторы на транспорте, выходя из трамвая с задней площадки. Газета «Ленинградская правда» специально разъясняла этот предмет, поместив в одном из октябрьских номеров подвал: «Нарушитель правил уличного движения – пособник врага».

Дисциплина в городе была беспощадной.

Рисковала Таточка, склоняя кладбищенских к государственному преступлению, рисковали кладбищенские, соблазненные деньгами и полбуханкой хлеба, рисковали затеряться в гуде мертвецов и бабушка с Борисом.

Притащились на кладбище еще в четвертом часу, но этот разговор спутал все карты.

«Документы!» – мильтон с веселыми и бескорыстными глазами слегка пританцовывал на холоде. Приятного вида круглолицый старшина в глухом треухе и овчинном полушубке, по-видимому, из тех людей, кто не просто служит, но делает из своей службы, а отчасти и из самого себя, целое художественное произведение.

Пожелав узнать сведения о покойном и услышав в ответ, что там двое, ревизию проводить не стал, удовлетворившись изучением бумажек, выписанных в ЗАГСе.

Стоявший поодаль одноглазый рабочий с заступом и легким острым ломом, в своем длиннополом, перепачканном землей пальто с узким меховым воротником, на рабочего был похож мало и в продолжение всего разговора Таточки с милиционером оставался молчаливым и угрюмым. Работал он здесь явно не по призванию, цвет лица имел неправдоподобно белый, нездоровый, как бы протухший.

«Хозяюшка, от ворот поворот!» – вынес резолюцию старшина, скорее всего, доброе сердце, предполагавшееся в таком живом человеке, было сковано чувством долга, что не оставляло надежды на снисхождение.

«У меня муж фронтовик!»

«И вы мужа таким своим поведением срамите», – нашелся милиционер.

«Я к Жданову... я к Капустину пойду!»



«Идти вы, конечно, можете, только сознательность надо знать, если вот так за каждого, – и старшина махнул рукой за спину, – пойдут просители к товарищу Жданову и товарищу Капустину, им живыми некогда будет заниматься».

Целый час, ежась на морозе, Анатолий с завистью смотрел на граждан, которые приходили, привозили, что-то показывали, говорили, и у них все шло как по маслу. На исходе часа повезло, приехала полторка с газогенераторным двигателем, попросту говоря, с двумя круглыми цилиндрическими печками по обеим сторонам кабины, и, пока машину разгружали девушки из МПВО, братец подошел и с разрешения шофера около этих металлических печек, выкрашенных в черное, погрел руки.

Медленно смеркалось, небо над заливом еще было светлым, а со стороны города надвигалась мгла.

К товарищу Жданову и товарищу Капустину идти не пришлось, за час с небольшим Таточка добежала до какой-то ближайшей милиции и вернулась оттуда без золотого крестика, но с разрешением на захоронение.

Какие приводила Таточка начальству следующей ступени доводы в пользу немедленного захоронения матери и юного племянника на кладбище, специально устроенном для удобства блокадников, неизвестно. И хотя долг чести и совести требовал безукоризненного исполнения порядка и правил в осажденном городе, милосердие власти то там, то сям выплескивалось за узкие рамки предписания. Крестик был вручен за доброту сердца и принят с умелой осторожностью, хладнокровием и хорошо исполненным смущением: дескать, к чему бы это мне, человеку неверующему, такая вещь, да уж ладно...

«О-о! раз сам Вакуленко вам подписал...» – старшина на кладбище только развел руками, давая понять, что отдает себе полный отчет в том, где кончается его власть и начинают действовать не подвластные ему высшие силы.

Тут же без разговоров милиционером и землекопом были приняты деньги и хлеб.

Одноглазый рабочий поспешил бросить: «Пойду подкопаю», – и двинулся прямо по мертвецам в сторону пустынного пространства, это чтобы не корячиться с санками, понимал, видно, что с клиентки ничего больше взять не удастся, раз пришла от самого Вакуленко.

«Давай, давай, двигай...» – с напускнутой беспечностью объявил старшина и сердечно потрепал Анатолия по плечу.

Быть может, под впечатлением от недавнего знакомства с коридорами Академии художеств, уставленными множеством скульптур и античных слепков, Анатолию показалось в сумерках, что эти скорченные и лежащие пластом преимущественно мужчины, но и женщины, и старики, все с мраморными лицами, одетые и голые, спеленутые, как мумии, и лежащие с открытыми лицами, с распахнутыми ртами, – это просто неудавшиеся скульптуры, вывезенные сюда за ненадобностью из какой-то огромной, надо думать, мастерской.

Вдруг Анатолий увидел, как что-то шевельнулось в груди совсем недалеко, страх сделал ноги чужими. С открытым ртом он смотрел туда, где мелькнул признак жизни, но никто, разумеется, не поднялся, в сумеречном свете мальчишка разглядел огромную крысу, неторопливо пробирающуюся среди мертвецов.

«Тащи, что рот открыл», – сказала Татьяна Петровна и потянула санки с гробом к уже проложенному через груды следу.

Окоченевший от холода и страха братец говорить не мог, только смотрел на мать и мотал головой.

«Давай, давай, мне же одной не вытянуть».

Вместо того чтобы впрячься, взяться за веревку, Анатолий сделал два шага назад.

«Ты что, с ума сошел, ты куда это? – мать не на шутку испугалась. – Ну что стоишь, Толюська, давай, там же человек ждет...»

«Я не пойду...»

«Здрате, это что еще за фокусы? Нашел время. Ты что, смеешься, что ли?»

«Мама...»

«Что «мама»? Глумишься?!»

«Я не пойду...»

«Не пойдет он! Ты лучше меня не вывод, слышишь? А ну, бери веревку, сволочь! Ты что ж, хочешь, чтобы я здесь родила, хочешь, чтобы я здесь сдохла?!»

«Мама...»

«Я тебе покажу «мама»! Он не пойдет, скотина...»

Как отчаявшийся возница бранит последними словами выбившуюся из сил клячу, хлещет, уже не веруя в пользу кнута, и по спине, и по шее, и по глазам, так и Татьяна Петровна бранью и затрепинами понуждала единственного своего помощника разделить ее непомерный и неизбежный труд.

«Слышишь, сволочь, что я сказала!»

Воя от страха, от обиды, от боли, оступаясь, падая, Анатолий ухватил веревку, навалился, впрягся, потянул; слезы мешали видеть, куда ступает нога, и, может быть, в этом было спасение. Гроб раскачивался, готовый завалиться, а Таточка, криком заглушая собственный страх и бессилие, продолжала орать:

«Я тебе покажу – не могу! Ты у меня еще жрать попросишь... Как есть, так «мама, дай», а как тащить, так он не может!»

Наклонившись всем туловищем вперед, как бы в глубоком почтении, напрягаясь, почти падая, Анатолий с веревкой, пущенной по-бурлацки через грудь, дергал санки, непрерывно застревающие на плохо накатанном пути; казалось, мальчишка отвешивает каждому покойнику поклон, прежде чем ступить на него ногой и протащить санки.

Ветер дул сначала в лицо, потом начал продувать как бы со всех сторон разом.

Метров через тридцать гряда кончилась и началась растоптанная дорожка со свежими холмиками по обеим сторонам. Слева за взгорком, где еще не поднялась видимая нынче со всех сторон братская могила восьми академиков из Академии художеств, извивалась невидимая Смоленка, а дальше, на том берегу, среди голых черных деревьев были видны каменные кресты, памятники и могилы в высоких оградах. Здесь же пока все было голо, как в поле.

Торжественное мгновение погребения Бориса и бабушки было омрачено ссорой, возникшей так некстати по дороге к могиле.

«Теперь я долг выполнила, мать похоронила, теперь я спокойна, – не дожидаясь, пока могила будет засыпана, с какой-то непонятной поспешностью бормотала Татьяна Петровна сама себе, нарочно не замечая Анатолия и не поминая его вклада в похороны. – Теперь я спокойна... мать похоронила... долг выполнила... Слава тебе, Господи!» – она крестилась и одновременно поправляла выбившийся и полуразвязавшийся шарф вокруг воротника.

Рабочий в длинном пальто закидывал могилу комьями смерзшейся земли, не очень заботясь о том, чтобы они легли плотно. Он то и дело останавливался, передыхал и смотрел на Анатолия своим одиноким глазом и думал о чем-то, скорее всего к Анатолию относящемся. Голубоватый глаз смотрел на скукожившегося на морозе отрока, ждавшего, когда же вся эта пытка кончится и можно будет двинуться домой, а до дома еще идти и идти. Говорили, что голубоватый и прозрачный взгляд был у тех, кто, как тогда говорили, ел, ел то, что человеку как бы есть и не полагается...

Рабочий переваливал комья земли, мать продолжала что-то бормотать, утешая себя и кого-то все время благодаря.

Вот и вся панихида.

Крест ставить было не только не по карману, но и бессмысленно, кресты нещадно крали на дрова, и поэтому место захоронения Анатолий обозначил бамбуковой лыжной палкой, на

которую опирался, передвигаясь по городу; эта палка и позволила весной, хотя и с превеликим трудом, к радости уже изревшей Таточки, отыскать могилу.

Все, казалось бы, проще простого: пришло время, поставили крест, установили ограду, только в ограде не одна могила, а две – бабушкина и... Бори! И сколько раз мы ни пытались, и Сергей, и папа, объяснить маме, что Боря и бабушка в один день, в одном гробу, и все такое прочее, никакого результата.

Может быть, все дело в том, что холмик рядом с бабушкиной могилой никогда на нашей памяти креста не имел и никем не посещался, и ждала его судьба множества других таких же холмиков, давным-давно сровнявшихся с землей. Это после войны приходилось отыскивать бабушкину могилу, подолгу бродя в довольно беспорядочном лабиринте крестов и могил, в зарослях крапивы и высоченной травы с метелками, а сейчас нашу могилу чуть не с дороги видно.

Однако еще до того, как у нас была установлена ограда, мама всегда этот соседний бугорок поднимала, прибирала, не давала ему осесть, а когда у бабушки крест заменили на новый, старый водрузили над безымянным соседним холмиком.

Кто под тем крестом лежит?

Татарин.

Иудей.

Эстонец.

Русский.

Мужчина.

Женщина.

Ребенок.

Смешно, конечно, но мама завела как бы свою собственную могилу «Неизвестного блокадника», утвердив этого неведомого нам жителя во всех правах на память и уход. Мы сами не заметили, как с легкой маминой руки стали именовать могилу «Борина». А мама уже шпыняла нас с Сергеем: «Что это вы, как свиньи, бабушкину могилу убрали, а Боря? Посмотреть страшно! Крапиву примяли, и все?»

Есть ли большая для мальчишек радость, чем доказать вечно правым и всесильным родителям их неправоту: «Какой Боря? Может быть, Федя? Может быть, Фекла? А может быть, Ибрагимоглы?» – и тут же смолкали, потому что мама ничего не говорила, не объясняла, не доказывала, даже не награждала нас достойными званиями, она просто начинала плакать, хотя и не так рыдательно, как в большом горе; плакала она то ли скорбя по безымянному, то ли огорченная нашей тупостью. Но хуже всего, если она поднимала с земли какую-нибудь ни на что не годную щепочку или сучок и шла поправлять эту приبلудившуюся могилку, нарочито показывая свою неумелость и тем разрывая наши сердца. И овладеть этим сучком или щепочкой можно было только со слезами раскаяния. Ну что ж оставалось делать, в слезах мы отбирали у мамы ее орудие скорби, усаживали ее на чурбачок, утешали и принимались поднимать, укреплять и обкладывать дерном выпавшую нам на долю лишнюю могилу.

Легкомысленные люди, пребывающие в надежде, а может быть, и уверенности в том, что в афоризме, в горстке слов может уместиться мудрость, объемлющая жизнь и смерть, изрекли: *Une vie inutile est toujours trop longue.* («Жизнь бесполезная всегда слишком длинна».)

Жизнь нашего Борьки с ноября сорок первого по четвертое февраля сорок второго была слишком длинна, раз она бесполезна?

Борька не сделал никому зла. Никому! Никого не обидел. Он был для мамы еще одним воплощением любимого ею человека, она хотела сына, именно так похожего на отца... Он стал нашей болью, нашей памятью...

«А польза. Какая от него польза?!»

Не верю, никогда не поверю, что щеголеватой фразой можно приоткрыть сокровенное в жизни, нет, жизнь серьезней, мудрее. И она, что в общем-то поразительно, умеет сопротивляться позерству и бессмыслице.

Если б не эта проклятая фразочка, в голову бы не пришло искать смысл в краткой жизни моего брата, но оскорбительное указание на ее чрезмерную длину заставило увидеть эту коротенькую, как вспышка спички, жизнь с неожиданной стороны, со стороны ее безусловной полезности.

...Он умер маленьким, в его жизни только и было два события: рождение и смерть. А маленькие любят играть. И хотя игры ему и не по годам, но вот играет он с нами уже пятьдесят лет в придуманную им игру, игру «в могилу». Да и во что же еще ему играть, в его-то положении?

И совсем нельзя сказать, что эта «игра» бесполезна, в ней есть выигравший, есть выигравшие, а проигравший – он. Таковую Борька затеял игру, а вы говорите «бесполезная жизнь... всегда длинна».

Пожалуйста.

Во-первых, выиграла бабушка, по сути дела спасенная Борькой от погребения во рву, в общей могиле. Именно он как полноправный житель Васильевского острова имел право на место на Смоленском кладбище, не будь его, с Таточкой и разговаривать бы не стали, а так именно бабушка, занимавшая доминирующее место в гробу, говоря словами приставленных к смерти конторщиков, «пошла на подхоронение».

Какой же камень Борька снял с наших душ, хватит с нас затерявшихся в неведомых могилах тети Берты, Нюночки, дяди Аркадия...

Одного этого было бы достаточно, чтобы заткнуть рот краснобаям.

Но это не все.

Валентина, наша двоюродная сестра, оказавшаяся тоже захлопнутой со своим техникумом в блокаде, и по сей день считает, что жива исключительно благодаря Борису, а ей семьдесят лет, и всю жизнь вся семья, весь дом был на плечах Валентины, и беспутный ее отец, и безответная мать, и брат с сестрой, хлебнувшие сначала фронта, а потом тюрьмы, и младший брат, так всю жизнь с тремя классами образования и проживший за спиной Валентины.

Можно сказать, конечно, что Валентине повезло, Боря умер в начале месяца, карточка его, по сути, не была еще отоварена, а мама как-то сумела ее не сдать и, уезжая, а вскоре мы уехали, оставила племяннице.

На одну карточку двадцатилетней девушке в феврале было бы не выжить даже при том, что к январскому хлебу прибавили сто граммов, Валентину в райсовете приняли за старуху, когда пришла за эвакуталоном, подождите, бабуля, говорят. И если «бабуля» еще могла двигать ноги, так только потому, что у нее была Борина карточка. В январе даже скудные крохи крупы, жиров, мяса удалось получить далеко не всем, но февральскую норму еще в начале месяца обещали отоварить полностью. Для детей по карточкам обещали выдать рис и манку, по килограмму. Одно дело – перловка и совсем другое – рис! Борькин рис.

Но и это не все.

Когда идешь по центральной дорожке, прорезающей Блокадное кладбище с востока на запад, справа и слева под снежными плащаницами невысоко поднятые над землей длинные братские могилы. Перед каждым из этих довольно широких рвов на сваренных из железных прутьев подставках знакомые с детства белой эмалью с черной надписью таблички: «Могила охраняется заводом им. Котлякова», следующая «...заводом им. Калинина», «...фабрикой им. Урицкого», «...больницей им. Слуцкой», «Балтийским заводом им. Орджоникидзе», «...трамвайным парком им. Леонова»...

Вот и у нас получилась могила безвестного мученика и страдальца, охраняемая как бы Бориным именем, именем, которое оказалось долговечней имен отлученных от бессмертия, поскольку нынче для тех переполненных могил готовят новые таблички.

Пока матушка, сидя на чурбачке, в умилении сердца смотрит, как ее «гвардия» (высшая похвала!) вершит подвиг человеколюбия, приводя в порядок «Борину» могилку, уместно будет сказать, что к смерти бабушку, Ольгу Алексеевну, приговорила как раз мама, ее собственная дочь. О чем впоследствии рассказывала без слез, неторопливо, всякий раз как бы прислушиваясь к своим собственным словам.

Мама имела обыкновение придерживаться правил и привычек, не всегда объясняя себе их смысл. Легко было догадаться, положим, почему она, живя на проспекте Газа, никогда не переступала порога новейшего и роскошного кинотеатра «Москва», построенного в тридцатые годы на месте снесенной церкви. Маму в этой церкви крестили. Но по молодости она вовсе не была набожной, не докучала небу ни мольбами, ни призывами, и органическое отвращение к кинотеатру «Москва» вовсе не было данью религиозным предрассудкам.

«Мама, а почему ты никогда в «Москву» не ходила?»

«Не знаю. Сама не знаю... зачем это безобразие здесь поставили... места другого не было... органическое отвращение».

И уже никакой логикой нельзя было объяснить, почему, живя на Восьмой линии, угол Малого проспекта, мама никогда не ходила по противоположной стороне улицы, именовавшейся по правилам Васильевского острова Девятой линией. В сущности, на Девятой линии ничего, кроме клуба имени Профинтерна, не было, но и в этот клуб, если случалось заглядывать, она шла прямо, то есть переходя улицу наискосок от нашего дома. Не изменила она привычке ходить только по Восьмой линии и тогда, когда на ее стенах появились синие трафаретные надписи: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Обстрелы города начались буквально с 4 сентября, еще до того, как кольцо блокады замкнулось, и застали местную оборону, можно прямо теперь сказать, врасплох. Первое оповещение по радио об артобстреле было дано лишь 29 октября сорок первого года. Понадобилось без малого два месяца для того, чтобы сочинить, утвердить и начать передавать по радио три типа сообщений. Первое, с началом артобстрела: «Внимание! Внимание! Говорит штаб МП ВО Ленинграда. Район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение по улицам прекратить, населению немедленно укрыться». Второе, если обстрел затягивался, а иногда он длился по часу и больше, тогда через каждые 10 – 15 минут следовало уведомление: «Внимание! Внимание! Артиллерийский обстрел продолжается», что, собственно, слышно было отчетливо и без радио. И только после того, как немцы уставали «готовить фарш», так артиллеристы в шутку называли «работу по городу», по радио фанфары играли отбой и передавалось долгожданное сообщение: «Внимание! Внимание! Артиллерийский обстрел района прекратился. Нормальное движение населения и транспорта восстанавливается». Именно не возобновляется, а восстанавливается! Но для кого-то его восстановить было уже невозможно, так как заканчивалось навсегда, и так до 22 января 1944 года, когда без пятнадцати пять утра в районе Благодатного переулочка, теперь Благодатный проспект, в Московском районе разорвались последние пять снарядов, убив двоих и троих ранив.

Случалось, что и после сигнала «Отбой», а немцы отлично знали обо всех городских оповещениях, как бы для иронии, выпускали еще снаряд-другой.

Вот в эти самые времена, когда обстрелы были ежедневными, да и не по одному разу, а объявлений еще не было, мама приспособилась с началом обстрела бегать по магазинам в поисках мест, где можно было найти продукты и отоварить карточки. И хотя Восьмая линия была объявлена наиболее опасной, бегала мама именно по Восьмой, и по привычке, и потому, что на Девятую откочевывал весь народ и там двигаться быстро было просто невозможно.

Благодаря верности этой своей привычке мама осталась жива.

Услышав первые разрывы снарядов, она быстро собралась и помчалась на Средний, где были две булочные, гастроном, «Молокосоюз» и два продовольственных. Снаряд ударил «буквально перед носом», взрыв был настолько оглушительным, что она его даже не слышала. Казалось, что какая-то невидимая исполинская рука ухватила нутро дома и вырвала его наружу вместе со стенами, перекрытиями, с хламом и домашней рухлядью. Многотонная волна из обломков здания и житейского скарба обрушилась на заполненный пешеходами тротуар Девятой линии. Расколотый взрывом дом еще продолжал осыпаться, его вспоротое нутро еще было окутано пылью и дымом, а улица уже стонала, кричала, выла, орал истошно ребенок.

От ужаса при мысли о том, что по правилам она должна была именно сейчас погибнуть, мама, почти оглохшая, не слыша криков о помощи, бросилась назад домой.

«Анечка, ты не бери все карточки, когда уходишь», – сказала бабушка, выслушав мамин рассказ о пережитом кошмаре.

После короткой оттепели в двадцатых числах декабря, когда снежные завалы по-весеннему отяжелели, осели и натопанные дорожки покрылись коркой льда и стали совсем непроходимыми, с января ударили морозы. Первого января было двадцать пять, второго – двадцать шесть, и так весь месяц. И в эту гремучую стужу город запылал, город горел от самодельных буржук, коптилок, от немислимых очагов, которыми пытались хоть как-то согреться горожане. Еще долго после войны на стенах домов можно было прочесть трафаретом нанесенные надписи, место которым, казалось бы, в доме для сумасшедших: «Хождение с горящими факелами и тряпьем по лестницам, чердакам и подвалам запрещено».

Тринадцатого ночью загорелся Гостиный двор, и вовсе не от бомбежки или артобстрела, загорелся от случайного огня, горел весь день, полыхал ночью, тушить было нечем. Весть об этом пожаре быстро оползла весь город, потому что к сообщениям о таких пожарах ленинградец относился так же, как к известию о том, что выгорела часть его дома. Еще в начале осени, когда сгорели «американские горы» в зоопарке, горожане передавали эту весть друг другу с каким-то особо горьким привкусом, как и слух о том, что в бомбежку погибла слониха.

«Если уж единственного в городе слона не убергли...»

«Если уж Гостиный двор не тушили...»

Казалось, что мороз, терзавший людей весь январь, уже превзошел все мыслимые пределы, но с двадцать первого холод перевалил за тридцать и четыре дня держался на тридцати четырех, что уже вовсе невыносимо для сырого, промозглого города. Для большего впечатления зарядил и резкий, пронизывающий ветер, по большей части северо-восточный, разнося огонь пожаров, которые тушить было нечем.

Коченея от холода, смотреть, как выгорают дома, горят балки, мебель, книги, так же мучительно, как смотреть истощенному, непрестанно думающему о еде человеку на то, как на его глазах пропадает, гибнет безвозвратно пища, способная его спасти, спасти близких...

И солнце в такой мороз висело в небе, попросту дразня. Оно куталось, будто ему тоже холодно, в какое-то белое пушистое облачко. Погода стояла ясная, солнце высвечивало немцам распластанный город, упрощая корректировку огня, повышая точность попаданий. Работа на батареях, несмотря на мороз, шла весело, пленный фельдфебель, командир орудия второго дивизиона девятьсот десятого артполка, рассказывал, как солдаты и офицеры батареи перед выстрелом подбадривали друг друга остроумными выкриками: «Проголодались? Кушайте на здоровье!», «Сделаем из них фарш!», «Привет большевикам!» и разными веселыми шуточками в адрес русских фрау.

Бабушка и Сергей заболели разом двадцать четвертого, это была не простуда, и тягостные подробности можно опустить.

Болезнь бабушки лишила маму той небольшой, но крайне необходимой при трех детях помощи и поддержки, которую она получала, пока Ольга Алексеевна держалась на ногах.

Дома удавалось поддерживать плюсовую температуру, но уже перепеленать Борьку, делая над кроватью палатку из трех одеял, стало неразрешимо сложно.

Двадцать девятого завьюжило, пошел снег и потеплело.

Матушка ухитрилась отыскать и даже привести домой какую-то полуживую докторицу из детской консультации, куда она регулярно навещалась за соевым молоком для Бориса. Врачи по вызовам приходили, но иногда через пять дней, иногда через шесть, могла прийти и медсестра, врачей не хватало. Докторица сказала, что попытается узнать о возможности взять Сергея в стационар.

«Транспорта у нас нет, так что придется как-то самим...»

«Хорошо, хорошо, у нас саночки есть», – и тут же припомнила объявление, написанное на тетрадном листе крупным детским почерком и прикрепленное у входа в гастроном на углу Девятой и Среднего: «Перевожу на саночках ихних покойников и другие бытовые перевозки». Ясно было, что первую часть объявления предприимчивый юный извозчик сочинил сам, а вторую скорее всего сдул откуда-нибудь из старой «Вечерки», прежде чем сунуть ее в печку или обмотать для тепла ноги. Это было открытие: ноги, обмотанные газетой, и в ботах, и в ботинках мерзли меньше.

Прошел день-второй, больным не становилось лучше, но больше никто не приходил.

Надо думать, мама была уже в сумеречном состоянии разума, если вдруг изменила своей привычке и пошла по Девятой линии. Ей даже показалось, что она заблудилась. Новизна ощущения подстегнула любопытство, поэтому, быть может, и обратила внимание на белую эмалированную вывеску у входа в парадную: «Врач-гинеколог... – то ли Спектор, то ли Кантор – 3-й этаж... часы приема...»

В черном котиковом пальто, за которое через два месяца в вологодской деревне дадут два ведра картошки, в черной фетровой шляпке, плотно облегающей голову, в белой шали и белых фетровых ботах мама была бы изящна и даже красива, если бы не землистый цвет впалых щек и синеватый тон губ, слегка по привычке подкрашенных.

Судя по тогдашнему расположению ее мыслей, мама вошла в эту парадную лишь потому, что надо было что-то делать, куда-то идти, что-то предпринимать, хотя бы посоветоваться, вот она и поплелась на третий этаж по широкой с выбитыми стеклами лестнице, покрытой наледью и смерзшимися нечистотами.

На дверях квартиры другая белая табличка объявляла: «Доктору звонить три раза», то ли Кантору, то ли Спектору.

Мама трижды повернула вертушку звонка. Подождала. Покрутила еще три раза, посмотрела на часики, были как раз указанные внизу часы приема. Хотела уже уходить, но за дверью послышалось какое-то движение. Открыл дверь замурзанный старичок, неумытый, замотанный во что-то теплое, бабье.

«Мне доктора», – сказала мама.

«Да. Проходите», – после долгой паузы сказал старичок и провел матушку в просторную нежилую комнату со старой громоздкой мебелью, где шкафами был выгорожен угол, оборудованный дамским смотровым креслом и белыми шкафчиками с инструментами. Вход в «кабинет» задерживался тяжелой портьерой, скользившей на кольцах по бронзовой трубе, закрепленной между шкафами.

«Прошу минуточку подождать...»

Минут через десять дедок вернулся в ослепительно белом халате, видимо, давно уже лежавшем без употребления. Белизна халата резко подчеркнула не совсем чистые руки и серенькое лицо, напоминавшее изрядно запыленное окошко, в котором не то чтобы размыли, а только размазали грязь посередке.

«На что, мамаша, жалуетесь?» – деликатно поинтересовался доктор, не предлагая пациентке раздеться.

Жаловаться маме было, собственно, не на что.

«Доктор, я хочу с вами поделиться... Я не понимаю, что мне делать с моим сыном и матерью...»

Доктор не задал ни одного вопроса, он смотрел на матушку, и на лице его была то ли скука, то ли печаль. Выслушав рассказ до конца, он встал, полез в один шкафчик, потом в другой, долго рылся и наконец выудил три бумажных пакетика, в каждом по порошку на прием.

«Вот, пожалуйста. Это все, что я могу для вас сделать... Помогут или нет, не знаю...»

Мама тут же стала соображать, как разделить эти три пакетика на двоих.

«У вас только три?» «Если вздумаете делить, умрут оба. Разделите – оба умрут, это я вам гарантирую. А если помогут, только кому-нибудь одному».

«А кому?» – поспешно спросила мама, как только поняла, какую задачу ей придется решать, лучше уж спросить доктора, пусть он скажет.

Доктор молчал.

Мама поняла, что он не скажет.

«Как я должна вас благодарить?» «Если поможет, скажете спасибо».

С тем мама и ушла.

Казалось бы, напутствие доктора должно было поразить маму, повергнуть в состояние мучительнейшее или хотя бы смутить, и потому, что предстояло вынести приговор матери или сыну, и потому, что и эти три порошка лишь подавали надежду, но успеха не обещали.

Сердце игрока, ставящего на кон хотя бы и не последние деньги, томится и трепещет, а здесь на кон ставилась жизнь и величайшее бедствие на свете.

Молодая женщина умудрилась остаться почти нечувствительной к своему горю. Так распорядилась не воля и не разум, так устроила сама природа, стремящаяся обезопасить душу. Страх и ужас могли только сковать жизненные силы, но никак не способствовать счастливому решению выпавшего жребия.

Счастливого жребия здесь не было и быть не могло.

Спокойно, с холодной рассудительностью дочь приговорила свою мать к смерти.

«Мама уже старенькая, ей шестьдесят два, ну еще поживет... а у Сережи, может быть, вся жизнь впереди, пусть он живет...»

Все три порошка были отданы Сергею.

В ночь на тридцать первое мама проснулась оттого, что Сергей запел. Она зажгла спичку и увидела, как он, разметав одеяла, лежал почти нагишом, раскинувшись, и пел. Глаза были широко открыты. От кровати поднимался пар.

Надо отдать должное последовательности властей и официальных органов, озабоченных тем, чтобы не бросить тень на портрет героических руководителей блокады никому не нужной и мало кому интересной статистикой смертей от голода.

Недаром же Андрей Александрович Жданов в своем историческом телефонном разговоре с Иосифом Виссарионовичем Сталиным первого декабря сорок первого года то ли из страха перед великим вождем, которого боялся, естественно, больше, чем немцев, то ли просто по подлости души, но правды о положении в городе так и не сказал, хотя голод уже пошел косить ленинградцев. Именно первого декабря от голода умерла бабушка Кароля Васильевна. Надо думать, Андрей Александрович, молодой и перспективный секретарь ЦК ВКП (б), боялся услышать упрек в недалёковидности, упрек в том, что отказался принять в Ленинград эшелоны с продовольствием, которое вывозили из-под наступавших немцев. Андрей Александрович предпочел поговорить о необходимости показательного расстрела комдива Фролова и комиссара Иванова, в чем нашел полное понимание и поддержку будущего генералиссимуса.

Партийная директива, предписывавшая не преувеличивать фактор голода в Ленинграде, выполнялась грубо, даже как бы и оскорбительно. Следуя этому указанию, тетка в ЗАГСе,



заполняя бабушкино «свидетельство о смерти», Кононовой Ольги Алексеевны, в графе «причина смерти» отчетливо написала: «старческий маразм».

Это у бабушки, у Ольги Алексеевны! Ясным духом своим прозревшей свою и Борькину смерть...

Маразм как причина смерти?

Тогда почему же не мрут от этого недуга властители, у них же это что-то вроде профзаболевания?

Да, блокада дала очень много интереснейшего материала для медицины. Патанатомия двинулась вперед семимильными шагами; поедание организмом самого себя, продолжение жизни за счет жировых и мышечных резервов было известно давно, а вот за счет печени? за счет сердечной сумки? Это уже был материал для диссертаций!

Все виды дистрофии были представлены у нас в энциклопедической полноте и разнообразии, и даже сам Андрей Александрович, хотя и не выполнил рекомендацию врачей и не похудел во время блокады, может быть предъявлен медицинской науке как классический экспонат для изучения дистрофии совести.

Хорошо, если бы власть предоставила гражданам возможность умирать в осажденном городе из какой-нибудь милости или из расчета, в награду, наконец, за какие-то доблести, а то миллионы людей были обречены лишь по малоумству и нераспорядительности.

По законам военного времени, например, ввиду надвигающейся на город угрозы, все граждане с немецкой подоплекой в имени и фамилии подлежали немедленному выдворению из города Ленина. И будь наши бесстрашные чекисты и их незримые и зримые помощники, сидящие в милиции и в жилконторах, чуть более внимательными, чуть более бдительными, бабушка моя, Кароля Васильевна, папина матушка, никак не должна была погибнуть от голода в этом мешке, ей полагалось быть высланной, и, может быть, даже в первую очередь. И мы могли бы за связь с бабушкой тоже выбраться в безопасное место немножко пораньше.

Все звали бабушку Каролей Васильевной, но никакой Каролей, никакой Васильевной она не была. Ее батюшку звали Вильгельмом Францевичем, матушку звали Агнессой Карловной, и была она Каролиной Иозефой Марией Шмиц, по рождению прусской подданной и безусловной немкой по крови. Ее свояченицу, сестру мужа тети Берты, Марию Адольфовну, чистокровную полячку, не имеющую к немцам никакого отношения, выслали в двадцать четыре часа за одно только отчество. А тут! Бабушка и в паспорте значилась «немка». Куда смотрела милиция? Почему молчала вся коммунальная квартира, где про нас было все известно? А бабушка веры своей не скрывала и ходила в католический собор св. Михаила на углу Среднего и Пятой линии.

Как честно сказано в многотомной эпопее про блокаду, «были ошибки, были...».

По законам военного времени и осадного положения о многих вещах вслух говорить было нельзя, могли расстрелять, и расстреливали. История отечества помнит немало времен, когда мнения граждан утрачивали свою неприкосновенность, а вот думать не то чтобы разрешалось, но запретить невозможно исключительно из-за сложности контроля.

Мама после войны не без страха признавалась, что во время блокады думала, и не раз, о том, что будет, если войдут немцы.

Один раз ей даже показалось, что по радио, которое нельзя было выключить из опасения не услышать сигнал «Тревога!», она услышала немецкую речь. Скорее всего, это была галлюцинация, голодный бред. А вот мысли, скажут или не скажут соседи по квартире о том, что муж у нее коммунист, были вполне резонными. Мысленно она перебирала всех соседей нашей многолюдной, хотя уже и несколько обмелевшей квартиры, вспоминала ссоры, неудовольствия, взаимные обиды, без которых коммунальная жизнь, да еще и с маленькими детьми, не обходится. А народ в городе очерствел, обозлился, взрывались люди из-за пустяков. И все-таки, по маминым расчетам, не должны были выдать; однако представить себе немцев на улицах, у себя в доме, рядом с матерью, с детьми...

Стук в дверь.

«Оленька, Анечка, представьте себе, я нашла чай. Провожу инспекцию в кухонном столе, думаю, что за бумажка, а это оказывается цибик, я о нем совершенно забыла! Две полные ложечки великолепного чая...»

Это Прасковья Валерианна, соседка, милая, недалекого ума старуха. За шестьдесят два года жизни не поняла простой вещи, понятной любому цивилизованному человеку: счастья на всех не напасешься, и надо уметь быть счастливым в одиночку. Так и помрет она со смешными нынче своими убеждениями семнадцатого марта, в канун Дня Парижской коммуны.

А что же сам рассказчик? Где он был в эту трудную для семьи минуту?

Как ни странно, он не требовал к себе особого внимания; одетый с утра потеплее, он передвигался на «макаронных ножках» по комнате, держась за стулья, стол, комод, с безучастным лицом, вовсе не накапливая впечатления и не собирая наблюдения для последующего правдивого повествования. Большую же часть дня, по мнению очевидцев, он сидел, как «синенький головастик», на краю кушетки, словно понимал, что снова не до него, поскольку опять «идут тяжелые роды» и надо просто довериться судьбе.

«Когда я Мишенькой разрешилась, словно благодать на меня сошла, так покойно на душе было, и ребенком он был удивительно спокойным. Плакал, только когда Сережа подходил к нему, он в кресле-качалке лежал, и бил».

За неимением нормальной, «как у людей», колыбели и Сергей, и я, и Борька прошли через кресло-качалку, превращенную папиной конструкторской мыслью в детскую зыбку. К сожалению, как человек, далекий от флота, отец не знал, что бортовая качка все-таки значительно предпочтительнее килевой. Кресло-качалка на бортовую качку не рассчитано, и нас растили в условиях суровой килевой качки.

Баюкая Борю в кресле и на руках, мама чаще всего пела две песни, и обе повергали меня в печаль и отчаяние, которые я мог выразить лишь безутешным ревом. Впоследствии, размышляя над природой своего отчаяния, все сумел объяснить надлежащими словами. Разумеется, понимание моей печали пришло с годами.

«Баю-баюшки, баю, не ложися на краю, придет серенький волчок, схватит Борю за бочок...»

Встреча с сереньким волчком пугала не больше, чем встреча с сереньким козликком. И волчок не волк, и козлик еще не козел; убивало другое: мама знала, что «придет серенький волчок», и готова была позволить этому самому волчку вытворять что заблагорассудится.

Вторая песня была несколько не лучше, хотя с виду еще более безобидная: «Ходит ветер у ворот, у ворот красотку ждет...», дальше было «ай-люли» и рекомендации ветру красотку не ждать.

Тоска охватывала меня с первых же звуков. Сама мелодия, протяжная, как печаль, была так жалостлива, что раскачивала душу; было жалко ветра, понапрасну болтающегося у плотно закрытых ворот, жалко было и красотку, потому что ветер, столь настойчиво домогавшийся встречи с красоткой, явно ее любил и готов был дать ей то ветряное счастье, которого она никогда не узнает за плотно закрытыми воротами. И брала тоска, и засыпал, лишь властью уревевшись, не умея толком ни понять, ни объяснить свою печаль.

Матушка до глубинных фибр своей души была плотью от плоти Санкт-Петербурга, где родилась, Петрограда, полуголодного, полуживого, военного, где прошло детство и юность, и Ленинграда, где прожила жизнь и закончила свои дни.

В вольной маминой душе по естеству уживались и дворец и окраина, и филармония и лужские частушки, и озорные песни осташковской няни.

Папа любил аккомпанировать маме, и мама пела «Не искушай», «Утро туманное», а на два голоса с тетей Таней «Уж вечер...» и, конечно, «Белой акации...». У мамы голос был глубокий и сильный, а манера пения сдержанная, и жест руки всегда был плавным, мягким, всегда

от себя, она искала опору вовне. А вот Таточка как раз прижимала руки к груди, как настоящая эстрадная певица, выжимающая обеими руками из души высокие звонкие звуки, повергающие в трепет слушателей.

В озорную минуту праздничного застолья мама могла метнуться к пианино и плеснуть на доверчиво распахнутые уши частушками, и безобидными: «Кину, кину кирпичину через быстрый ручеек...», и не очень: «Юбку новую порвали и подбили левый глаз...».

Нас строго осаживали не то чтобы за брань, она в домашнем обиходе исключалась, но и за «мусорные», по папиному определению, словечки, дань уличной моде: «железно», «моща!», «колоссально!», «во дает!» и т. п. Зато от мамы в ответ на канюченье денег можно было услышать: «Привяжи к жопе веник, по улице пойдешь, много денег наметешь». Произносилось все это с артистизмом, как деловой и доверительный материнский совет. А приучая нас к порядку, мама прибегала и к рифмованным правилам, похожим на суворовские заповеди: «Раз, два, три – насрал, прибери!»

Папа вздыхал, и укоризна его адресовывалась не только нам, но и маме.

«Аник...»

«А что? Я говорю русским языком, в доме должен быть порядок».

Когда мы с братом вышли уже из нежного возраста и «взрослые» разговоры велись при нас открыто, мы не без удивления узнали, что папу не удовлетворяют бытующие определения политических деятелей, и для таких, как Ф. Р. Козлов, не предполагающий какой-нибудь самостоятельности в своей организующей и направляющей деятельности, отцу пришлось найти свой термин: «поджопный подпевала». К расхожей, дежурной брани отец относился с неприязнью, считая ее «барским хамством», в устах начальства особенно, зато Михаил Андреевич Суслов за его паразитическое, потребительское отношение к марксизму иначе как «идеологическая глиста» не именовался. Свое отвращение к холуям самых разных пород отец чаще всего выражал в словесных портретах, как правило, состоявших из развернутой метафоры, всегда неожиданной.

В сорок седьмом году во время юбилейных гастролей МХАТа в Ленинграде мама пересмотрела все спектакли без исключения, вплоть до «Глубокой разведки» Крона, серенькой пьесы о геологах, из тех сочинений, что внедрялись в репертуар академических театров «для отражения современной действительности».

«Анечка, но зачем же вы эту-то чепуху смотрели?»

«Ну что вы, Екатерина Аркадьевна, там же Болдуман, Еланская, Грибов, Андровская, какие силы... Андровскую обожаю!»

Коль скоро речь зашла о театре, можно вспомнить, что гордость и славу русской сцены, кроме немногих, по пальцам перечесть, драматургов, составила великолепная плеяда артистов, умевших в совсем не первоклассных пьесах завоевать сердца зрителей и высоко поставить авторитет театра в обществе.

Каратыгина, Мочалова, Асенкову, Стрепетову, Щепкина, Остужева, Черкасова, Симонина ходили смотреть в любом репертуаре!

Рампа делит сцену и зал, но она не может разделить современников, не может разделить единую, общую жизнь, выпавшую на долю и тем, кто на сцене, и тем, кто в зале.

Огромному числу людей предписывается играть в сочинениях, исполненных лукавства и полуправды. И что же? Мы видели и сами участвовали в представлениях, где отыскивали свою «правду» и пытались ее одухотворить искренним чувством исполнителя. Пошлый фарс, кровавая трагедия и бесконечно, на десятки лет растянутая нудная драма становятся судьбой, человеческой жизнью, наполненной подлинным страданием, подлинной болью, подлинными страстями.

«Как же вы прожили эту жизнь, полную лжи и унижения?»

«А вот так и прожили...»

Сохранилась фотография, где раскинувшая руки мама, по-видимому, исполняет роль пропеллера в грандиозной гимнастической пирамиде «Ответ Керзону», изображавшей много-моторный бомбовоз. А потом у мамы была роль матери троих детей в блокадном Ленинграде.

А потом была роль жены лауреата Сталинской премии первой степени за 1949 год.

Справилась. И что, быть может, важнее прочего, роли свои вела не стеснительно для окружающих, никого не тесня, не унижая, не помыкая.

Гармоническое развитие всех способностей личности в одно полное и состоятельное целое, быть может, один из самых привлекательных моментов жизни, и, видит бог, человек сам себе предписывает, следовать ли ему вечным и неизменным велениям разума или быть рабом смутных и преходящих желаний.

Матушка моя, не посвящая свой век возвращению и обслуживанию своего эгоизма, во всей полноте душевных способностей развилась в личность притягательную, сумевшую сохранить достоинство и ясное представление о порядочности в ту пору, когда самое понятие «порядочность» уже не включалось в «Словарь по этике». Пакостные обстоятельства доставшейся ей жизни, вынуждавшие после Единой трудовой школы зарабатывать еще и трудовой стаж на разгрузке барок с дровами, провожать родителей в ссылку, переживать аресты родных, страх за детей, за мужа, за себя, в конце концов, не убили в ней способности радоваться, и, кажется, она упустила в жизни не так уж много мгновений многоликого, хотя и краткого счастья без того, чтобы, потеряв руки, как перед игрой на рояле, не воскликнуть: «Ребятки, а жить-то как хорошо!»

Ленинград – произведение художественное, и потому он так полно и звучно отозвался в ее артистической душе, свободной от провинциальной скудости следования хорошим манерам, сведения о которых почерпнуты из журналов «Работница» и «Огонек».

Во всем нашем клане, как с папиной стороны, так и со стороны мамы, никто не посвящал свою жизнь «служению музам», но искусство, книги, музыка всегда были тем заповедником, той волей, где душа в минуты радости и в годы печали находила созвучие своим желаниям, своему представлению о должном и необходимом.

Сорок третий год. Ленинград. Кому повезло – уехали. Кто смог – выжил. Кто не смог – похоронен.

Вот открытка из Ленинграда, из сорок третьего года. Открытка цветная, из серии «Ленинград в дни Отечественной войны», на открытке репродукция с литографии художника Н. Павлова «После вражеского налета»: Исаакиевский собор справа, Конногвардейский манеж слева, впереди в клубах дыма фасад Сената и Синода, порванные трамвайные провода, бегущие люди.

Открытка послана моему отцу в Заполярье его старшей сестрой, моей тетушкой, Маргаритой Николаевной, по-домашнему – Лялей.

«Дорогой мой, родной Колюшка! Не могу понять причины твоего долгого молчания. В чем дело? Меня оно очень беспокоит! Напиши, дорогой. Я здорова. Подкармливаюсь своим огородом. Вчера была у меня Таня – угощала ее своей картошкой, бобами и кабачками. Скоро м-ц как я начала брать уроки музыки. 2 раза в неделю. Так хочется чего-то нового, хорошего, так хочется покоя и быть снова среди вас, мои дорогие! Как твое здоровье? Что пишут Аня, что детки? Жду писем! Целую крепко, крепко. Твоя Ляля. 19. VIII.1943, г. Ленинград».

Наверное, лишь храня военную тайну, тетушка не написала брату, что грядки ее могли бы попасть и на эту открытку, угоди бомба чуть левее. Трудящимся завода имени Хосе Марти, где работала тетушка, дали под огороды газоны на Конногвардейском бульваре, в ту пору на бульваре Профсоюзов.

Тетушка не молода, ей тридцать четыре года, работает на заводе, учится на вечернем отделении Герценовского института, держит огород, подкармливает свояченицу, берет уроки музыки!

Сорок третий год, середина войны, в январе блокада прорвана, а до снятия блокады еще сто шестьдесят один день. Из ста сорока восьми тысяч четырехсот семидесяти восьми тяжелых снарядов, выпущенных немцами по городу за время блокады, на сорок третий год падет семьдесят шесть тысяч восемьсот пятнадцать, то есть почти половина. Добивали тех, кто уцелел в страшные зимы, били нещадно.

В начале Конногвардейского бульвара, со стороны Адмиралтейства, на круглых колоннах из полированного сердобольского гранита вознеслись выше деревьев крылатые венценосные девы Победы, отлитые, кстати сказать, в Берлине и полученные как ответный дар за группы укротителей коней работы непревзойденного Клодта. Подарки, прямо скажем, неравноценные. И сам бульвар возник на месте закопанного Адмиралтейского канала ровно за сто лет до Победы, в 1845 году.

«Гром победы раздавайся...» Не обязательно. Иногда Победа шелестит картофельной ботвой.

В сорок втором и сорок третьем годах все газоны на бульваре были возделаны с японской тщательностью, здесь вызревали до полной спелости – картошка! бобы! кабачки!

В раме полумертвых домов, частью обгорелых, частью закопченных выставленными в окна жестяными трубами самодельных буржеек, в этой каменной раме заключен великолепный, оживляющий душу пейзаж с ботвой, серпантинном горохом, мордастыми тыквами и похожими на минометные мины кабачками.

Тетка, окучив картошку и завернув тяпку в мешковину, с немецкой аккуратностью перевязав мешковину бечевкой, не оставалась караулить набирающий силу кабачок <sup>1</sup>от случайного прохожего (все-таки город, все-таки бульвар, все-таки голодно и подворовывают), нет, она шла брать уроки музыки.

За одно это можно было дать медаль «За оборону Ленинграда».

«Дорогой мой, родной Колюшка! Сегодня у меня радостный день. Не могу молчать, хочу, чтобы и ты разделил со мной мою радость – я получила час тому назад медаль «За оборону Ленинграда». Многие она будет напоминать, а также ко многому еще призывать. Я здорова. Жду твоих писем. Сегодня получила письмо от Олечки из Тулы. Крепко целую, дорогой. Горячо любящая тебя Ляля. г. Ленинград. 1943 г.»

Сами открытки цветные, отпечатаны в Ленинграде в типографии имени Ивана Федорова в 1942 году тиражом 25 тысяч экземпляров; факт замечательный.

На открытках репродукции картин ленинградских художников.

Рисовали. Носили на комиссию. Комиссия обсуждала. Отбирала. Шла в партийные инстанции, те тоже обсуждали, отбирали, утверждали, разрешали печатать. Печатали.

Работа Г. Фитингофа называется «На Неве»: прорубь у спуска с набережной, корма вмерзшего в лед парохода, дома со слепыми окнами, две женщины поднимаются по крутому скользкому спуску с тяжелой драгоценной ношей, старик и парнишка набирают воду из проруби в ведро и бидон.

Глянцевая поверхность открытки удачно подчеркивает мертвенный синеватый тон картины.

«Дорогая Аня! На днях получила твое письмо от 7.И. Очень рада, что все мои книжки пришлись по вкусу. Сегодня в 9 ч. вечера к заводу приходила Таточка. Пройдись с ней до Мариинки. Выглядит она много лучше и вообще порадовала меня своим настроением. Получила ли ты соду, отправленную в двух письмах 2.17? Как здоровье Люси и всех вас? Эта картинка напомнит тебе, как в 1942 году в январе – феврале мы ходили за водой на Неву. Я здорова. Получила письмо от Коли. О его переезде я ничего не знала, узнала из твоего письма».

---

<sup>1</sup> Вопрос к читателю: может ли в Санкт-Петербурге образца 1994 года в черте города на неохраняемом огороде вызреть кабачок?

8 апреля – один из кошмарных дней блокады, в этот день по городу выпущено несколько сотен снарядов. А в открытке? Невестка<sup>2</sup>пришла повидать золовку, Таточка и Ляля встретились, две молодые и вполне привлекательные женщины прогулялись по живописнейшей набережной Крюкова канала, от завода до Мариинки. От прославленного театра с проломленным бомбой куполом, этого с улицы не видно, и обрушившейся стеной, обнажившей лестничные переходы, это как раз видно, до проспекта Красных Командиров, где живет Таточка, недалеко, и до общежития, где на казарменном положении живет Ляля, тоже недалеко. Снаряды пока рвутся где-то на Обводном в районе Лиговки и разговору не мешают. Оглядели друг друга, нашли, что выглядят чуть лучше, чем прежде... Весна, скоро белые ночи...

Это был день яростного, бешеного артобстрела, продолжавшегося всю ночь, до утра. Спать было невозможно, грохот разрывов доносится и сюда, в казарму, где живут рабочие судомеханического завода, живут рядом с заводом, чтобы не тратить время, а главное, силы, на дорогу домой. Бегать в укрытие надоело, да и страшно, сколько рассказов о заваленных бомбоубежищах, о людях, затопленных невидимым в темноте лопнувшим водопроводом в подвальных ловушках. «Надо бы Анечке написать, как там у них?» Писать про канонаду нельзя, а то враг подумает, что Жданов и Сталин всей мощью двух фронтов, Ленинградского и Волховского, не сумели подавить два десятка батарей, вот уже полтора года в упор расстреливающих город. По Смольному немцы не бьют, как и наши не бьют по штабу немецкой 18-й армии, стянувшей городу горло. Действует как бы негласный договор, и поэтому запасной и безопасный командный бункер для Андрея Александровича, вырытый в парке Лесотехнической академии, на недостижимом для немецких пушек краю Выборгской стороны, так и не понадобился. У полководцев своя война, у горожан своя.

В общежитии тихо. Корабли бьют на Неве совсем рядом, скоро немцы ответят... ага, вот уже первый свистит... сидеть у окна нельзя, при взрыве изрежет осколками стекло... Ого! дом вздрогнул, будто кто-то крепко поддал ему снизу. Это у площади Труда... Делать все равно нечего, можно написать открыточку...

Почта работает. К нам в эвакуацию, в Череповец, приходили не только книжки, издававшиеся в блокадном Ленинграде, но и сода в конвертах, и, как следует из других открыток, – мячик, журнал «Мурзилка», ботиночки, карандаши и блокнот «на двоих с Мишей – рисуйте мирно и дружно».

«Дорогой Серенький! Как ты обрадовал меня своим хорошим письмом. Будь молодцом и дальше! Хочется думать, что скоро всех вас увижу. Будь здоров и дружен с Мишей. Часто ли катаешься на лыжах; что принес вам Дед Мороз? 5 февраля сдала экзамен по английскому языку, на хорошо. С 10 февраля по 21 февраля получаю отпуск для сдачи экзаменов по литературе. Крепко всех целую. Тетя Ляля. 7 февраля 1944 г. г. Ленинград».

Две открытки, одна из сорок третьего, другая из сорок четвертого, одна из ада, другая из города, вот уже десять дней слушающего артиллерийскую пальбу только по радио из Москвы, салютующей нашим победам. Оба письма написаны рукой заботливой, интеллигентной и очень спокойной. А война?

Разве бытие не определяет сознание?

Ну конечно, определяет, однако, как показывает бесценный опыт индивидуальной жизни, начиная с какого-то уровня нравственного сознания уже само сознание начинает определять бытие, и здесь можно говорить о независимости духа. Иначе откуда эта выдержка, ровность тона и ясность голоса у бесчисленных авторов блокадных дневников, авторов «открыток» из окольцованного города.

---

<sup>2</sup> Вскоре после ареста мужа, спасая себя и сына, Т. П. подала на развод, а перед самой войной вышла замуж за Аркадия, младшего брата моего отца.

«Субстанция» интеллигентности – это и есть нравственное сознание, независимое от родовитости и безродности, от выручки в лавке, от котировки ваучера, больного зуба, прихоти тирана, прокуратора, самодержца, генсека и президента, независимое даже от количества снарядов, выпущенных по тебе сегодня.

Ленинград в годы блокады дал небывалый всплеск исторического самосознания среди граждан самых разных категорий, от школьника до академика. И тетушка туда же, мы уже были по ту сторону кольца, а она словно боялась, что мы забудем, и слала книжки, выходившие еще в осажденном городе, для нас с братом – о почтальоне «с толстой сумкой на ремне»:

...С ним мы встретились по-братски,  
И узнал я с первых слов,  
Что земляк мой ленинградский  
Снова весел и здоров,  
Уцелел со всем семейством,  
Голод нынче позади.  
И медаль с Адмиралтейством  
На его горит груди...

Мама хранила присланные ей в Череповец стихи Ольги Берггольц, выпущенные книжечкой в ладонь величиной в сорок втором году в блокаде. Хранилась эта книжка в той самой дамской сумочке, с которой мама бегала в блокаду по городу. Мы видели, как много раз она пыталась читать эту книжечку, но всякий раз через минуту-две начинала плакать, и не так чтобы две-три слезинки, нет, всерьез, чуть не навзрыд. По-моему, книжка так и не была прочитана. До сих пор она так и лежит в маминой потертой, выдавшей вида сумочке, лежит как новенькая.

Нам с Сергеем эту книжечку мама никогда не давала, то ли боялась, что мы изречемся, как она, то ли боялась, что потеряем.

«Как все-таки Берггольц поддерживала людей, как было важно слышать голос, словно одним родным человеком в городе больше было...»

Так говорили многие. Но искусство, слово художника могут поддержать лишь того, для кого они что-то значат, в ком самом живет душа, способная эхом отозваться на гармоничный звук. И слово Ольги Федоровны Берггольц проникало в сердца ленинградцев, значит, таких сердец, способных резонировать, отозваться болью и участием на слово поэта, было большинство.

Как в дворянской семье не мудрено было стать человеком образованным и более-менее культурным, так же и ленинградцу, несущему в душе божью искру таланта, трудно было уклониться от множества городских ветров, способных раздуть эту искру и дать душе хоть на миг воспламениться, почувствовать себя приобщенной к высшему.

Чтобы мальчишке из провинции, умеющему рисовать, пробиться в Академию художеств, в подготовительную школу при Академии, ему же надо горы своротить, сквозь игольное ушко проползти, а здесь все просто. Просто бабушка, просто Кароля Васильевна, увидев, что внук неплохо рисует, взяла его за руку и отвела на Васильевский остров прямо в Академию художеств. Толковые люди с готовностью посмотрели рисунки, попросили нарисовать какую-нибудь вещь по собственному выбору и прийти еще раз.

Нападение Германии на Югославию было оставлено семейством без внимания, все включились в судьбу двенадцатилетнего шкетя, все решали, что рисовать, от этого зависело так много.

«Рисовать, конечно, надо вазу!»

«Цветы! Обязательно цветы!»

«Тогда уж вазу с цветами!»

Дух пошлости и усредненности почему-то всегда первым рвется в учителя и наставники художника.

Анатолий, ни слова не говоря и не слушая участливый щебет, принес из кладовки старый раздолбанный башмак сорок третьего размера, постелил на стол газету, поставил башмак на газету и нарисовал, да так, что видны были не только царапины и облупившаяся краска вокруг дырочек для шнурков, но был виден и нрав башмака, отчасти сродни дедовскому, то есть нрав существа вполне самоуверенного и склонного к щегольству.

Родня умоляла не носить башмак в академию, Таточка всплакнула, но бабушка, негибаемая Кароля Васильевна, взяла свернутый в трубочку рисунок в одну руку, внука в другую и двинулась с проспекта Красных Командиров в храм живописи, ваяния и зодчества на ту сторону Невы через мост Лейтенанта Шмидта.

Рванный башмак открыл Анатолию двери в художественную школу при академии. Вступительные испытания он проходил в одной группе с известным художником Ильей Глазуновым. Дело было в начале лета сорок первого года.

Ударил война. Из художественной школы пришла открытка, приглашение на собрание в связи с эвакуацией школы вместе со всей академией и музеем слепков в Самарканд.

Кароля Васильевна сказала, что на собрание сходить надо, сама и пошла.

«В Самарканде будет хорошо, туда много артистов едет».

«Подумаешь, Репин какой! В Самарканд ему... здесь останется».

Остался.

И несмотря на то, что Анатолий был вопиюще молод, он поддержал мать, помог ей в трудные дни и тяжкие годы.

Поддержал он свою мать вовсе не в каком-то переносном, аллегорическом смысле, как бы мобилизуя своим присутствием силы для борьбы за жизнь. Роль такого агитатора играла, конечно, Ниночка, пока еще безымянная, носимая всю кошмарную, смертную зиму, как говорится, под сердцем. Спас мать, поддержал, помог выжить именно художественный талант Анатолия, нашедший применение в подделке талонов на дополнительное питание в столовке Октябрьского райисполкома.

Таточка в начале войны работала в бухгалтерии исполкома и как опора власти была прикреплена с сыном к столовой, где можно было получить хоть и скудный, но приварок, тарелочку супчика хоть какого-никакого да еще иной раз и с серой вермишелькой; нет-нет да и перепал кусочек сахарку, а то и хлебца.

Характер, надо признаться, у Таточки был не то чтобы замечательный, но, если правду сказать, не райский, и поэтому ей приходилось довольно часто менять место работы. Война войной, а характер не переделаешь, и где-то как раз в конце февраля, когда в городе пошел уже повальный мор, поскольку никакие скудные прибавки питания не могли восполнить безнадежно изжитый жизненный ресурс, Татьяну Петровну из исполкома попросили, лишив вместе с сыном права на тарелку в общем-то баланды.

Продовольствие, получаемое по карточкам, никак нельзя было уже в декабре назвать едой, а впереди ждали январские 125 граммов малосъедобного хлеба, и поэтому поиски пищи были делом непрерывным, как и мысли о еде.

Роясь в матушкином туалетном столике в поисках съестного, хотя бы обломков какой-нибудь помады или баночек с неизрасходованным кремом для «питания кожи», способным гипотетически напитать и желудок, среди множества полезных и приятных вещей, которыми бывают богаты избалованные женщины, Анатолий нашел просроченные талоны на дополнительное питание в райисполкомовской столовке, которые оплакали два месяца назад вместе с похищенными карточками. Отчаяние при мысли об упущенных возможностях тут же сменилось надеждой. Недолго думая, собрав остро отточенные карандаши, оптический и механи-



ческий инструментарий, вдохновенно, с полной отдачей всего своего таланта, он подверг подвинувшиеся документы на продление жизни изумительной художественной реставрации. Что же он с ними делал фактически, останется для истории тайной. С этим надо смириться.

Настал час, и сын пригласил мать на обед!

Это был поступок мужчины.

Оба в мужских шапках, оба в теплых пальто на вате, перехваченные в поясе веревками для удержания тепла, они молча, подгоняемые жгучим голодом, стараясь не думать о том, что по законам военного времени рискуют не только животом, но и головой, двинулись на угол Садовой и Майорова, в дом под острым шпилем.

Зимняя мужская шапка, Сашина, на голове Таточки была еще прихвачена сверху шарфом, узлом завязанным под подбородком. Природа столь основательного укрепления шапки на голове объяснялась довольно просто: в декабре, когда Таточка коченела в очереди у булочной, какой-то юноша, именовавшийся в дальнейшем «сволочь из ремеслухи», сорвал с ее головы чудную зимнюю шапку с черным фетровым цветком и проворно удалился в подворотню проходного двора на 3-й Красноармейской. Запоздалые Таточкины вопли: «Держите! Ты что делаешь! Вор!» – казалось, прозвучали на пустынной улице, а не в толкучке у магазина. А ведь большинство граждан представляло, что значит остаться зимой без головного убора. Понимая свою неспособность вернуть шапку, Таточка обрушила весь гнев на стоявших рядом граждан, толкая их отказ от организации погони как соучастие и пособничество в грабеже. У каждого из стоявших в очереди, по-видимому, горя было побольше, чем украденная шапка, и поэтому смотрели на орущую тетку молча. Собственно, и сегодня публичные оглашения даже громадных преступлений точно так же выслушиваются молча и остаются без последствий.

Кстати сказать, вырвали у Таточки и карточки. Было такое занятие у обезумевшей от голода молодежи. «Рывок карточек» – так называлось это преступление на уголовном языке; с юридической точки зрения, «рывок» был делом пустяшным, хищения до 50 рублей не давали основания для возбуждения уголовного дела. А что такое потеря карточек? Практически – смерть. Местным органам власти удалось в конце концов объяснить великодушному правительству, что к чему, и получить наконец-то позволение наказывать за хищение карточек строго, то есть расстреливать.

Ну что ж, времена были суровые.

Анатолий так хотел есть, что просто сил не было думать о каких-то там последствиях.

Талоны поварихе, лично стоявшей над источающим запах жизни котлом, протянул Анатолий сам.

За ним стояла неестественно толстая в талии мать, с ввалившимися щеками и вылинялыми глазами, источавшими белый свет.

Повариха с первого взгляда поняла, что таких талонов она в жизни не видела, однако отзывчивая на все прекрасное ленинградская душа, надо думать, подсказала ей, что держит она в руках почти произведение искусства! На мать она даже не смотрела, мать она помнила по имевшим место в пору работы Таточки в райисполкоме бурным сценам, она смотрела на талоны и на автора. Автор, полукрив рот с потрескавшимися губами, ждал приговора. Ждут ли с таким же напряжением нынче художники приговора жюри международных премий? Ждут, но не все. Рыхлая тетка приговор вынесла и тут же привела его в исполнение: дважды опустила черпак в котел, плеснула в две тарелки горячей жижицы и бросила в каждую из тарелок по десертной ложке серой лапши из кастрюльки поменьше, стоявшей здесь же, под левым локтем.

Обед был съеден молча, и так же молча мать с сыном ушли.

На следующий день мать была приглашена на обед вторично, и все повторилось сначала.

Анатолий вел мать, уже уверенный в своей руке. Он был почти убежден в том, что талоны сошли за настоящие.

И подтверждение в виде двух тарелок овсяной бурды и двух стаканов жиденького компотика на сахарине с плавающей долькой сушеного яблочка было получено со всей веселящей душу очевидностью.

«Репин», – сказала Татьяна Петровна, когда вышли на улицу и никто не мог слышать.

Стоит мальчику сочинить стишок, взрослые спешат пообещать – поэтом будешь. Стоит девочке на представлении в очаге сплясать «снежинку», спешат поздравить друг друга: «Да она же у нас балерина!» Глупость взрослых заразительна, преломленная детским сознанием, она сообщила Анатолию, убедившемуся в своей ловкости, уверенность в том, что у него в руках лампа Аладдина. Он уже спокойно подумывал о том времени, когда будет рисовать карточки на розовой почтовой бумаге, найденной в том же столике, ну а когда вырастет, то и деньги. Ждать, пока судьба сдаст на руки выигрышные карты? Нет! Карты в твоих руках, их надо делать! Но это уже пафос более поздних времен.

Во время третьего похода не произошло ничего замечательного.

Четвертый день принес отрезвление, Анатолий протянул талоны, уже не глядя на поварику, а та, едва на них взглянув, тут же вернула автору, державшему протянутую за тарелкой руку на весу. Автор поднял глаза на рыхлую тетку с пахучим черпаком, источавшим едва уловимый аромат гороха, но тетка была каменной дамы, жившей в нише под шпилем дома «Помещика», где обитал Анатолий с мамашей.

Ни слова не говоря, мать и сын покинули столовую, давясь голодной слюной.

«Толюстик, что же это?» – обреченно пробормотала наконец Татьяна Петровна, когда подошли к Фонтанке.

«Это халтура!» – самокритично признался Анатолий и, оглянувшись, мелко изорвал и выбросил свое творение.

Да, невооруженным глазом было видно, что на этот раз талоны были выполнены небрежно. Нет, это были не те изумительные изделия реставратора подлинных талонов на дополнительное питание, которые могли бы занять достойное место в любом музее криминалистики.

Накануне все светлое время братец где-то проболтался, а вечером, при фитиле, обмерзшими руками качественно выполнить работу уже не сумел.

Над следующей парой талонов Анатолий работал два дня, недовольный собой, он вставал из-за стола, кидал в остывшую буржуйку неудавшийся вариант, разминал руки, ждал вдохновения. Вместе с воспоминанием о гороховой баланде оно приходило, и он приступал к работе.

Вот здесь-то в полной мере и обнаружила себя складка усидчивости, свойственная и его отцу, полгода жизни в заключении потратившему на кропотливую работу над рисунком из соломки на крышке самодельного портсигара.

Мать отговаривала, все-таки опасаясь непоправимых последствий, но юный мастер наконец откинулся от стола, взглянул на свою работу издали, потом внимательно посмотрел еще раз через лупу и коротко бросил: «Вроде бы неплохо! Совсем неплохо!»

«Детку-крошку», одно из имен Анатолия, мать с новыми талонами не отпустила.

Снова натянули ушанки, перепоясались для тепла какими-то шнурами от абажура (многие ленинградцы были в ту пору небрежны в одежде) и двинулись.

То ли послышалось, то ли действительно в полуподвале, где обитала столовка, при их появлении раздалось: «Идут...» Повариха мельком взглянула на талоны, руку мастера узнала сразу, две тарелки теплой жижи и две десертные ложки «шрапнели» были выданы незамедлительно.

Молча, не поднимая глаз друг на друга, мать и сын съели обед и так же молча, по-английски, не прощаясь, покинули столовку с теплыми желудками и ликующими сердцами.

Как хорошо, если бы пастораль с поддельными талонами могла длиться до великого дня Победы и возобновиться в нынешние времена, когда продовольствие в Санкт-Петербурге для

большей части ленинградцев, не предполагавших переселения в новую эпоху и внутренне к ней не готовых, стало проблемой чрезвычайно сложной.

А ведь в сорок седьмом году, в день своих именин, тетя Тата с ужасом спрашивала гостей, а может быть, и саму себя: «Куда деньги идут? Ну куда деньги идут? Я ж уверена была, что после войны деньги просто девать будет некуда. В декабре сорок третьего мы с Толюской ухватили полмешка овса, запаривали в самоваре и горя не знали! Я как прикидывала: после войны можем ведь не полмешка, а мешок на месяц брать. Ну, на хлеб еще деньги, на сахар, и все! что еще-то надо? Ну что? Остальное на театр, на наряды, на развлечения. И вот тебе на, опять денег не хватает».

Да, жизнь подкладывает мины в самых неожиданных местах, где ты их меньше всего ждешь, но чаще всего мы напарываемся на мины, подложенные собственными руками, а братец умудрился подорваться даже на своей собственной бомбе.

Анатолий хоть и имеет медаль «За оборону Ленинграда», но в грозные годы блокады вылетел из школы, из седьмого класса, и слава богу, что на улицу, а не под трибунал.

Как и полагается, он ходил на крышу своего знаменитого дома «Помещика» на дежурство, гасил зажигалки, а какую-то неразорвавшуюся бомбу, не очень большую, пока мать ухаживала за Ниной, принес домой. Бомба мирно жила у него под кроватью. Мать была предупреждена, чтобы даже во время мытья полов бомбу не трогала. Ребята в классе, а Боря Беккер и сегодня может это подтвердить, не очень-то верили рассказам о бомбе под кроватью. Пришлось на спор принести бомбу в школу, а для доказательства того, что это не муляж, сбросить ее из окна во двор во время перемены. Бомба разорвалась и запыхала так яростно, что тут же прозвучал сигнал воздушной тревоги на ближайшем посту, а вскоре примчалась и пожарная машина.

По законам военного времени Анатолий подлежал военно-полевому суду, кстати сказать, в ту пору по предложению Иосифа Виссарионовича Сталина ответственность, вплоть до расстрела, налагалась на преступников начиная с двенадцати лет.

Слезы матери и непростительная мягкотелость школьного начальства и местного поста ПВХО не позволили применить к Анатолию закон во всей его строгости, но из школы он, конечно, вылетел пулей. Вылетел, зато смог в том же сорок третьем начать свою трудовую деятельность, что существенно увеличило его привилегии впоследствии.

Через сорок шесть всего лишь лет после снятия блокады о преимуществах тружеников блокадного города над остальными гражданами возвестила газета «Вечерний Ленинград» под рубрикой «Вам – блокадники!», дав исчерпывающую информацию: «Все – о ваших льготах». Таким образом, официально сообщалось, что Анатолий получил право сделать предварительный заказ на разные замечательные вещи, например на пылесос – «1 шт. в 12 лет», телевизор – «1 шт. в 12 лет», стиральную машину, «в том числе малогабаритную, за исключением марок «Вятка-автомат», «Сибирь», «Фея» и «Малютка», – 1 шт. в 15 лет», холодильник, «за исключением марок «ЗИЛ», «Минск» и «Бирюса», – 1 шт. в 15 лет», полотенца махровые – «2 шт. в 3 года». Право на покупку двух махровых полотенец раз в три года имели только люди с инвалидностью, а не просто блокадные труженики, а у Анатолия-то как раз к этому времени уже была инвалидность. А вот льняные полотенца, две штуки в год, мог купить любой работавший в блокаду ленинградец, даже не ставший впоследствии инвалидом, им же предоставлялась возможность сделать предварительный заказ и не стоять в очереди и не бегать по городу в поисках таких товаров, как «носки, чулки, головные уборы и обувь, кроме фирмы «Ленвест», отечественного производства».

Просиживая штаны в школе и бегая по сигналу «Воздушная тревога!» в бомбоубежище, права на два махровых полотенца в три года через сорок пять лет после войны не заслужишь!

Выкинутый из школы братец, недолго думая, определился учеником сапожника, в мастерскую, здесь же, на 2-й Красноармейской. Однако ученическая продовольственная кар-

точка и туповатая работенка никак не могли устроить его живую мальчишескую натуру. Недаром же Таточка придумала для сына небывалое звание – прохонжист. И не пройдоха, и не проходимец, разумеется, и не проныра, но человек явно ловкий, проворный и удачливый. Словом, прохонжист!

Оправдывая это уникальное звание, Анатолий покинул сапожную мастерскую и попробовал устроиться кровельщиком в ЖЭК. Работа с братмаром и киянкой пошла у него споро. Отличное пространственное воображение и прирожденная конструкторская мысль позволили ему на экзамене сразу получить III разряд. Для этого он сделал своими руками металлическую воронку. Обечайку и мы с вами выьем, это в сущности кольцо, верхнее и, меньшего диаметра, нижнее, а вот рассчитать и выбить конус, а потом соединить его соответствующими швами с обечайками и узким горлышком, тут нужно иметь дарование. На экзамене в поощрение молодому таланту, кроме разряда, был вручен еще «стахановский талон» на одноразовый обед из трех блюд. Воронка была признана шедевром!

Работ по кровле благодаря налетам и обстрелам было полно, и, может быть, эта обеспеченная жизнь в поднебесье тоже могла бы продолжаться и по сей день, если бы не досадный эпизод.

По правилам техники безопасности кровельщик, работая наверху, обязан, именно обязан, привязываться веревкой к дымовой трубе или иному устойчивому предмету, например через слуховое окно к чердачной балке. Но уже через неделю-другую мастера входили во вкус, считали, что веревка только мешает, и как завзятые циркачи работали без лонжи.

Если мать с собой еды не давала, что случалось часто, и погода была приличная, что случалось редко, Анатолий во время обеденного перерыва вниз не спускался, а по совету матери снимал рубаху и принимал солнечные ванны, восполнявшие недостающий организму витамин Д.

Загорать братец любил у конька крыши, а по команде «Кончай шабашить!», отдавая дань игре молодых сил, лихо съезжал на заду вниз, чтобы в конце пути упереться пятками в водосточный желоб, выставленный вдоль края крыши.

В один прекрасный жаркий августовский день, день действительно был жаркий, Анатолий в обеденный перерыв с пустым животом загорал на крыше, наблюдая, как самолет таскает за собой на тросе «колбасу», а девчата-зенитчицы бабахают по этой «колбасе» для тренировки и обучения. Будущая жена Анатолия Зоя была его немножко постарше, имела десятилетку и служила планшетисткой на батарее, прикрывавшей мост Володарского. Вполне возможно, что и ее батарея в этой учебной пальбе участвовала.

После того как прозвучала команда приступить к работе, Анатолий ради сомнительного детского удовольствия скользнул вниз, однако, едва ноги коснулись желоба в конце пути, как ржавая жесть рассыпалась от удара, и братец заскользил дальше вниз. Он, уже цепляясь, как мог, за голую крышу и ладонями, и ногтями, продолжал свое медленное движение вниз. А дома, надо сказать, на Измайловском проспекте, как назло, высокие, по шесть, по семь этажей, да и этажи не нынешние, не два с половиной.

Зацепившись уж неведомо чем за остатки крепления рухнувшего желоба, братишка со свесившимися вниз ногами замер на краю крыши.

Оказавшись в положении столь непривлекательном и отчасти беспомощном, ему бы покойно постучать по кровле, привлечь к себе внимание и объяснить товарищам по работе, что произошло, и попросить помощи. Но он не то что кричать-стучать, вздохнуть боялся, опасаясь в ту же минуту рухнуть вниз. Так и застыл в неприятном изумлении, близком к ужасу.

Зрелый плод блокадного детства! Он лежал на спине, дико уставившись в пустое небо, на котором недосыгаемо высоко стояли бесполезные полупрозрачные облака, за которые если и можно было зацепиться, так только взглядом. Он слышал ровное, с переливами при разворотах, гудение невидимого самолета с этой идиотской «колбасой», он уже и забыл, что только

что переживал за судьбу летчика, которого мазила могли запросто сбить. Под свесившимися ногами была бездонная яма, и оттого, что перед глазами не было ничего, кроме неба, можно было подумать, что Земля все-таки плоская, а он добрался до ее края и свесил ноги. Если вам случалось бывать в подобных положениях, то вы, вероятно, помните в высшей степени неожиданное ощущение, страх не оттого, что полетите вниз, а вот так, оторвавшись спиной от крыши, рухнете в бездонное небо.

Никогда не испытывали чувства страха от возможности упасть в небо, как бы свалиться с Земли?

Что-нибудь подобное должна испытывать сидящая на потолке муха, если бы располагала хотя бы искрой воображения.

Мальчик верующий, наверное, горевал бы в эту минуту о том, что должен отойти без покаяния, но росший в пионерском безбожии Анатолий лишь со смертной тоской ожидал катастрофы и ни о чем думать не мог, весь обратившись в спину и пальцы, которые единственно только и могли его удержать на этом свете.

Сколько он так бездыханным провисел над одним из лучших проспектов города, сказать трудно, но коллеги в конце концов заинтересовались его положением и, тихо матерясь, кстати замечу, довольно органично, ползком двинулись в спасательную экспедицию. Полез спасать Андрей Николаевич Ковальков, человек необразованный, но с мягким и сочувствующим сердцем, а напускная его суровость сводилась к нескольким нецензурным выражениям довольно безобидного характера. Андрея Николаевича и к трубе привязали как следует, и страховали вручную, чуть потравливая веревку, чтобы не было слабины. От любого удара по кровле, от малейшего сотрясения Анатолий мог сгинуть.

После этого эпизода братец стал бояться высоты и даже покинул хлебную работу кровельщика, приносившую, кроме вполне приличного для мальчишки заработка, еще и раз в неделю, это минимум, «стахановский талон».

В сорок четвертом году он нашел в Невском районе занюханную какую-то мореходку, не дававшую даже среднего образования, но дававшую три раза в день поесть.

Ни высотник, ни моряк, ни художник из Анатолия не получился, и на пенсию он ушел по инвалидности кандидатом технических наук, конструктором приборов стабилизации космических систем в полете.

Если кто-нибудь удивлялся обилию авторских свидетельств и патентов на изобретения, он с легкостью объяснял: «Представь себя на месте падающего тела. Представляешь? Ну что хорошего. Так что все вот это, – и он кивал на стопку красивой бумаги с гербами и печатями на ленточках, – только для одного, чтобы падение превратить в полет».

И все-таки воображение художника, опыт работы на высоте и даже ненавистная мореходка, воды он боялся так же, как и высоты, в конечном счете пригодились ему в основной его работе, и придуманные им приборы с одинаковым успехом применялись как на летающих системах, так и на плавающих под водой.

А вот из множества чувств, пережитых и испытанных братцем за время блокады, ни страх, ни голод, ни холод, ни боль, ни отчаяние не оставили такого рубца в душе, как мимолетно, в сущности, пережитое чувство стыда и унижения.

Летом сорок второго, когда уже пошли трамваи в городе, Анатолию с матерью пришлось хоронить Ниночку. И снова все не как у людей. Гробик заказывать не было ни сил, ни средств, поэтому девочку сначала завернули в матрасовку, а потом еще в байковое одеяльце, перевязали все как следует, получился такой аккуратненький длинненький сверток, явно накрутили лишнего, и в трамвае женщина-кондуктор измерила своим сантиметром сверток и сказала, что надо платить за багаж. И вот здесь-то, когда Анатолий вместе с Таточкой вывернули все карманы и не смогли наскрести несчастного рубля или сколько там полагалось, мальчишку обжег такой стыд, что след этого ожога так никогда в душе и не зарубцевался. И нельзя было ни пла-

кать, ни просить, нельзя было признаться, что в свертке. По законам военного времени возить покойников в трамвае категорически запрещалось, а насчет детских покойников распоряжения не было, так что они попадали под общее правило.

Догадалась бы кондуктор, какого «зайчика» у нее везут!

И все это от горя, от переживаний, ведь шутя можно было бы провезти Нину под видом живой, ну как бы спящей. У матери на руках грудной ребенок, не полезет же кондуктор или контролер пульс проверять, может, действительно спит ребенок, а потом, уже на кладбище, все сделать как следует. И все-таки недалновидность Таточкину понять можно. Как говорится, век живи, век учись. С Анатолия и вовсе спроса нет.

Видя замешательство пассажиров, мамыши с сыном, явно затеявших волынку, чтобы провезти багаж на «фу-фу», кондуктор стала дергать шнурок звонка, призывая вожатую остановить поезд, чтобы нарушителей или высадить, или сдать.

Однако женщины в бедственном положении бывают даже по-особенному интересны; огромное, неподъемное горе они способны нести с грацией, в иных обстоятельствах им даже не свойственной, может быть, в подобных случаях отсутствие лишних и случайных жестов, движений и слов придает женщине особую привлекательность.

Военный, все время внимательно смотревший на Таточку, резко сказал кондукторше: «Прекратите!» – и протянул деньги.

«Не стыдно, человек, может быть, с фронта едет, а должен за вас платить!» – не утихала ревнительница порядка, отрывая багажный билет из катушки, висевшей на плоской груди.

Скорая на слезу Таточка даже не расплакалась, видимо, еще не пережив тоску, охватившую ее при мысли о том, что придется идти пешком от Измайловского проспекта до Охтинского кладбища, где было предписано похоронить Нину; ближайшее, Красненькое, уже было переполнено, и туда не принимали.

Татьяна Петровна хотела поблагодарить военного, но чувствовала, что стоит ей открыть рот, и обязательно расплачется, поэтому только улыбнулась командиру, как улыбнулась бы, если бы он протянул ей всего лишь руку, помогая выйти из трамвая.

Эпизод в сущности анекдотический, и не ему бы занимать в памяти Анатолия место «вечного огня», жгущего душу, не дающего остыть однажды пережитому...

Пожалуй, и для меня, лишь пассивно, на краю кушетки присутствовавшего в блокаде, едва ли не таким же ожогом стала случайная реплика, на которую можно было никогда в жизни и не напороться, а напорвшись, рассмеяться и забыть.

Не рассмеялся. Не забыл.

В книжечке доктора Коврина, участника защиты полуострова Ханко, можно прочитать о том, как его, приплывшего в Ленинград защищать научную диссертацию в конце сорок первого, в ноябре, артобстрел застал на Васильевском острове, в районе Среднего проспекта, около Восьмой линии.

«К счастью, снаряды падали где-то у Малого...» К счастью, снаряды летели в сторону нашего дома. Это был дом старшего церковного причта Рождественской церкви, кстати сказать, совершенно необычной для петербургского пейзажа и одной из старейших. Эту гостью, явно московского обличья, привел сюда в середине позапрошлого века неизвестный архитектор, пристроивший к двухъярусному пятикупольному собору еще одну церковку под одним изрядным куполом, тайну этой своей прихоти он унес с собой в бездну времени вместе со своим именем.

Во время счастливого обстрела снарядом большого калибра (малого до нас не долетали) был сбит один из главных куполов собора, под сенью которого мы бедовали блокаду.

Этот, один из ста сорока шести тысяч снарядов, выпущенных по Ленинграду, с божьей, как говорится, помощью долетел до Благовещенского собора, купол снес и сам того не заметил, а жажнул уже в садике; взрыв этот мама хорошо помнила и рассказывала о нем не однажды.

Все дело в том, что недостаток питания при кормлении новорожденного Борьки мама пыталась восполнить пунктуальным соблюдением режима кормления, строго по часам, минута в минуту, поэтому, несмотря на объявление тревоги в связи с артобстрелом, несмотря на вой дисциплинированнейшего жителя блокадного Ленинграда, моего четырехлетнего брата Сергея, мама грудь у младшего брата Бориса не отняла.

Два высоких окна нашей комнаты, наполовину уже заколоченные фанерой, выходили в сад, простиравшийся до Седьмой линии, в старые годы здесь было кладбище, примыкавшее к церкви. Младший брат отца Аркадий про кладбище не знал, но садик почему-то звал тошнеловкой. Вот тут-то и ахнуло, в садике. В садике рвануло, да так, что дом наш поехал, не крыша, а весь целиком, и с крышей, и со стенами.

В комнате висели часы в деревянном футляре с маятником, «Павел Буре», часы точные, и мама от них не отрывала глаз, опасаясь перекормить ребенка. Но маятник вдруг припал к левой стенке футляра, и часы медленно поползли по стене, как ползет стрелка кренометра где-нибудь на ходовом мостике корабля во время качки. Дом накренился и пошел, готовый вот-вот рухнуть. Надо думать, полз он медленно, потому что мама успела понять, что происходит, и подтащить к себе уже самостоятельно одевшегося Сергея, орущего о желании идти в бомбоубежище. Мы же с бабушкой, по маминому свидетельству, довольно безучастно отнеслись к этому удару, сидя на кушетке. Угасающий дух, как известно, иногда очень похож внешне на дух исключительно твердый.

Мама смотрела на часы, смотрела, как они ползут по стене, как они остановились и как стена двинулась в обратную сторону, а часы так и замерли, скособоченные, точно зафиксировав максимальный угол наклона здания на третьем этаже и точное время радости доктора Коврина.

Кто теперь скажет, к счастью или несчастью, но снаряды однажды падали в районе Среднего проспекта, и один угодил прямо в милицию, после чего милиция облюбовала наш дом на Восьмой, туда и вселилась. Мы же от Благовещенской церкви так никуда и не удалились, получив комнату на четвертом этаже в доме младшего церковного причта на противоположной стороне все того же садика.

Году в пятидесятом, может быть, в пятьдесят первом, отец, приехав в Ленинград в командировку из своей тундры-мундры, шел себе по Восьмой линии и, видно, автоматически, как бы по инерции, вошел в дом, где жил до войны, откуда ездил на «Электросилу», где работал монтером, и в Политехник, где учился на вечернем отделении.

Он вошел в дом, поднялся на третий этаж.

Тот же сквозной коридор. Те же двери.

На двери нашей комнаты табличка: «Начальник отделения милиции».

Вошел, попал в тамбур, выгороженный для секретарши.

«Приема нет, – быстро проговорила кудрявенькая бабешка, не поднимая глаз на вошедшего. – Я же вам ясно сказала, приема нет», – уже грозно проговорила дама из деревенских, увидев, что отец взялся за ручку двери в кабинет начальника.

«А я не на прием».

«Так куда ж вы лезете-то?»

«Во-о-от в эту комнату», – сказал отец и вошел в кабинет. Следом за ним влетела перепуганная правоохранительница.

«Я же ему говорю, а он нахально...» Папа окинул взглядом потолок. Лепная розетка над люстрой была та же, и люстра была та же, а вот лепной бордюром был срезан секретарской пристройкой.

«Товарищ, что у вас?» – спросил подполковник в темно-синем кителе со стоячим воротником и узенькой планочкой невысоких наград над клапаном левого нагрудного кармана. В городе произошли только что очень большие события, и повсюду обновилось начальство.

«Это наглость такая, я ему говорю, а он... что мне, драться с такими, что ли?» – не унималась перепуганная собственной оплошностью тетка.

«Помолчи. Гражданин, что вы хотели?» – спросил новый хозяин бывшей нашей комнаты.

«Я хочу выкурить здесь папироску...»

«Я из дежурки сейчас позову», – сказала секретарша.

Начальник откинулся в кресле с деревянной спинкой, видимо, даже довольный таким развлечением, отвлекшим его от груды бумаг на столе.

Помолчали.

«У меня в этой комнате умерла мать и сын», – сказал отец не совсем правду, потому что здесь умерла Ольга Алексеевна, а его мать, Кароля Васильевна, умерла в другом месте.

Я не раз убеждался в том, что органическая правдивость отца вызывала в людях доверие.

«Даша, дай товарищу пепельницу», – сказал начальник и, словно забыв и о посетителе, и о клопочущей Даше, снова стал перебирать и подписывать свои бумажки. Можно было подумать, что вот так, покурить, к нему заходят по нескольку раз на дню и он уже привык.

Даша не рискнула переспрашивать, взяла пепельницу со стола для совещаний и подала отцу, тот молча кивнул и сел на стул у стены.

Через опущенную фрамугу из садика доносились детские голоса, детей после войны в Ленинграде, не в пример нынешним временам, было много, и сад до позднего времени был полон визгов, криков, беготни.

Отец стал считать, сколько сегодня могло бы быть Борису.

«Святая троица»... четырнадцать Сереже... двенадцать Мишке... Боре было б десять...

Их тоже было трое, в Фатеже дразнилку сочинили: «У кураевской шпаны на троих одни штаны: Сергей носит, Колька просит, Кадик в очередь стоит!»

«Лежал между рамами... Левое окно или правое?»

Вспомнил, как пятого сентября тридцать седьмого года около часа ночи Юрка кидал в окошко камешки. Парадную на ночь дворники закрывали, и проникнуть в дом милый друг, друг еще с биржи труда, для сообщения о рождении дочки никак не мог. Отец выглянул в окно, и всю ночь друзья кочевали по чайным и закулочным, работавшим в ту пору до самого утра в интересах извозчиков, шоферов такси, трамвайных рабочих и разной беспутной публики. А через месяц отец вот так же, среди ночи, придет на Фонарный к Юрке, гордившемуся тем, что живет в квартире Нестора Кукольника, автора реакционных, псевдопатриотических произведений... И снова, как уличные бродяги, они будут отмечать день рождения, на этот раз папиного первенца...

Может быть, от присутствия милиционера отцу припомнился очень сложный вариант женитьбы его друга. Все началось с грозного суда, куда отец был вызван для моральной поддержки, как введенный во все сердечные затруднения друга. Юрка не нашел для себя ничего лучше, как увести жену профессора Политехнического института, где они оба учились. Жена эта была дочка лейб-медика Его Императорского Величества и имела от профессора сынишку. А профессор не нашел ничего лучше, как подать заявление в суд, указав при этом, что разлучник был со своим отцом в войсках белого генерала Святополк-Мирского. Юрка разъяснил суду, что был при отце в детском состоянии, девяти лет от роду, а вот истец может рассказать, как он служил у белого генерала Булат-Булаховича отнюдь не в детские годы. Отец никак не ожидал такого способа и нападения, и защиты. При таком повороте дела они запросто могли оба вылететь из кандидатов в ВКП (б), из профсоюза и даже из института. Отец говорил, что страху натерпелся. После непродолжительного совещания «на месте» председательствовавший, то ли под рабочего одетый, то ли действительно из рабочих, резко объявил: «Революционный суд не имеет возможности выяснять заслуги истца и ответчика перед белогвардейской сволочью. Для выяснения этих заслуг суд рекомендует обеим сторонам обратиться в органы ГПУ. Суд постановляет: дело производством прекратить, обеим сторонам немедленно



очистить помещение рабоче-крестьянского красного суда». До рукопашной дело на улице не дошло, хотя профессор и пригрозил застрелить Юрку из охотничьего ружья. В полной мере удовлетворенный решением суда, отец терпеливо увещевал клокотавшего Александра Андреевича, объясняя ему, что Люся уже беременна, и пальба, суды и крики не в состоянии изменить положения дел...

...За окном вокруг многоярусной колокольни с шишкой вместо креста, вокруг разбитых, просвечивающих металлическими ребрами куполов носились безудержные стрижи, заполняя воздух свистом, похожим на частый и беспорядочный скрип несмазанного валка на колодце в Фатеже.

«Почему Аркадий называл этот садик тошниловкой?» Аня рассказывала, что последний раз он пришел домой в конце июля, принес Сергею синюю шерстяную пилотку с голубым кантом и вышитой звездочкой, тоже синей... «Кадик, когда следующий раз тебя ждать?» – спросила Кароля Васильевна. «Ты видела плакат «Грудью защитим Ленинград»? Похоже, больше защищать нечем, ты же видишь, что творится», – с тем и ушел. Что творилось там, где он был? Ни похоронки, ни извещения «пропал без вести», ничего, ни на какие запросы ни одного ответа, будто бы не было эскадрильи, не было полка, армии.

Дядя Кадик летал на «СБ», отец не раз видел, как мессершмиты жгли эти неповоротливые «СБ» над тундрой.

...Догорая, папироса не жжет пальцев, как сигарета, она просто гаснет.

Отец поставил пепельницу на место.

«Спасибо».

«Пожалуйста, пожалуйста», – не поднимая головы от бумаг, проговорил хозяин кабинета.

Мама два года обивала милицейские пороги, тщетно пытаясь восстановить потерянную в блокаду ленинградскую прописку. За сооружение первой в мире подземной гидроэлектростанции, да еще в Заполярье, отец был увенчан лаврами Сталинской премии. Для семьи лауреата прописка была восстановлена как по мановению волшебной палочки, которой, кстати, в действительности не существует. Получается, что отец отвоевал Ленинград для нас с братом и для мамы, которая, как ни смешно это звучит сегодня, родилась в Санкт-Петербурге.

Наше спасение в блокаду, хотя и запоздалое, тоже оказалось делом рук отца, впрочем, и не предполагавшего, что нас спасает, когда просил сослуживца передать нам с оказией деньги.

Четвертого февраля у мамы на руках было двое живых и двое мертвых, пятого февраля пришел папин коллега, приехавший из-под Мурманска, с «Оборонстроя». Приехал человек по делам, в командировку, заодно обремененный личными просьбами, в том числе и кандалакшских дам: кому помаду, кому чулки, кому туфли, кому блузку, целый список с размерами и цветом. В Ленинград человек летит! Слухи о том, что в Ленинграде туго с продуктами, именно так, «туго», просочились аж до Заполярья, но о том, что действительно творилось в городе, за его пределами, не знал никто, знали, конечно, но только немцы.

Когда Амбаров с аэродрома прибыл в город и увидел его февральские улицы, увидел окоченелые трупы, вмерзшие в лед трамваи и троллейбусы, увидел еле двигающиеся по улицам кульки с одеждой, означавшие еще живых людей, он, по собственным его словам, не мог есть привезенный с собой хлеб и консервы.

К нам с письмом и деньгами от папы, регулярно высылавшего «подкрепление», Амбаров пришел чуть ли не накануне своего отъезда. Представить себе, в каком положении семья самого Николая Николаевича, он даже не мог.

Он увидел прикрытую простыней бабушку на оттоманке, Борю между рамами, нас с Сергеем, синеньких головастиков с выпученными глазами, и маму, пытающуюся на каком-то костерчике в печке что-то сварить в детской кастрюльке.

«Как хорошо, что вы пришли, у нас сейчас каша будет... Я вчера очень удачно обменяла плиточку шоколада на мешочек крупы. Ну что шоколад? Это лакомство, им не наешься, а каша – это на целый день... Это нам на неделю хватит... Ну, как там Коля?»

Каша почему-то никак не могла свариться. Гость попросил разрешения взглянуть. Мама сама удивлялась, что-то уж очень долго варится.

«Вы напрасно жжете стул, Анна Петровна, это не крупа, это какая-то химия, это даже в кипятке не размокает... стекло какое-то...»

«Как так? Я же меняла не в подворотне, я же на Сенном рынке меняла... Ходила к Татьяне, надо как-то маму хоронить... А женщина предложила мне крупу...» «Анна Петровна, да посмотрите же, это не крупа». «Я вам говорю, я меняла на Сенном рынке, очень приличная женщина, смуглая, хорошо одетая, интеллигентного вида... Она же отличает стекло от крупы... Мне предлагали студень, но я побоялась, Прасковья Валерианна взяла на пробу и сначала даже не могла есть, ни чеснока, разумеется, ни лаврового листа, и вкус, говорит, какой-то сладковатый...»

«Я вас так не оставляю», – сказал Амбаров. Именно он прошел, вернее, протащил маму через все инстанции для оформления эвакуодок документов. Мама рассказывала об этих походах со смехом: «Я летела за ним как на крыльях! Я понимала – это спасенье. А он все время: «Анна Петровна, вы не могли бы идти чуть-чуть быстрее?» А я и так лечу, не понимаю же, что это сердце летит, а ноги-то еле-еле двигаются. Смех один!»

Мама была убеждена, что, приди Амбаров на один день раньше, и Борю, и бабушку удалось бы спасти.

На желтых саночках с высокой выгнутой спинкой мы с Сергеем были доставлены мамой, тетей Лялей, Валентиной и неутомимым Амбаровым на Кушелевку, первую станцию от Финляндского вокзала.

Вокзал был в зоне обстрела, поезда оттуда не отправлялись. Дальше, уже дачным поездом, добирались сами. Тащились долго. Сырые дрова не могли сообщить паровозу ни резвости, ни прыти. Выгрузились в Борисовой Гриве, на берегу озера.

Единственным собственным четким воспоминанием о блокаде стала вот эта дорога через Ладогу в феврале сорок второго.

Я запомнил этот день, потому что он был ясным, солнечным и голубой автобус на сверкающем, слепящем снегу был роскошен.

Народ кругом был крайне возбужден, взвинчен, зол, все боялись налета и проклинали солнце. Именно в такую погоду немецкие летчики, заходя на цель со стороны солнца, делаясь почти невидимыми зенитчикам, с особой легкостью отправляли под лед все, что по льду ползло и двигалось.

С санками нас в автобус не пустили, пришлось привязать их к заднему бамперу. Каково же было наше с Сергеем горе, как обмусолили мы лица друг друга слезами, когда в Жихаревке увидели вместо санок кусок обрезанной веревки, именно обрезанной, а не оборвавшейся.

Как было горько, как было обидно при мысли о том, что санки украли «наши», а ведь казалось, что все зло, все беды на свете исходят только от немцев...

## НЕВЫДУМАННЫЙ ЭПИЛОГ

27 января 1944 года был четверг. Святой для мамы день, последний день блокады.

Январь в 1944 году был необычайно теплым. На Рождество капало с крыш, на Крещение побрызгал дождичек.

Окончательно блокада была снята в четверг, после дождя...

27 января 1994 года снова четверг. На Рождество закапало с крыш, на Крещение прошел дождичек и почти смыл снег в городе.

К празднику вышел президентский указ, приравнивающий всех блокадников к участникам войны.

Дождались, и тоже после дождя и в четверг.

Санкт-Петербургский мэр, что по латыни значит «большой», любит говорить о небесном покровителе города. Ну что ж, покровителю в чувстве юмора не откажешь. Устроители «праздника», наверное, хотели попасть в тон покровителю, и в этот день было много смешного и неожиданного.

Смешно было смотреть, как старики и старушки лезут через сугробы в дыры кладбищенской ограды, чтобы попасть на Пискаревку, где начальство будет чтить погибших.

Памятуя о том, как в день празднования пятидесятилетия прорыва блокады, то есть в прошлом году, блокадники не пустили мэра на Пискаревское кладбище, в этом году в ожидании приезда президента не пустили на кладбище блокадников. На штурм кладбищенской ограды шел в основном народ немолодой, но, слава мэру, все обошлось без травм и увечий. И какой же русский не любит покувыркаться на праздник в снегу!

По-своему смешно выглядела красавица «Красная стрела», доставившая на праздник дорогих гостей из Москвы. Состав тащили два электровоза. То ли одному чести много, то ли мало доверия. Приравненные же к участникам войны вспомнили, что так, двойной, а то и тройной тягой, возили товарища Шверника или товарища Ворошилова, правда, во время войны. Раньше, впрочем, было немножко проще, ждали беды со стороны врага, теперь сложнее, беды со всех сторон...

Уважаемая столичная газета поздравила ленинградцев в этот день с годовщиной прорыва блокады, президент, может быть, как раз и введенный этой газетой в заблуждение, большую часть праздничного дня провел за городом, в деревеньке Марьино, где пятьдесят один год тому назад был осуществлен прорыв вражеского кольца вокруг города. Марьино – деревенька глухая, немногочисленная. Президент был окружен несколькими десятками ветеранов, всех поздравил, поблагодарил за «оказанную» победу над врагом и пообещал не позволить бюрократам ущемлять завоеванные права граждан.

Свою веселую нотку внесли в праздник телекомментаторы, испытавшие на себе бесцеремонность охраны президента и потому сравнившие визит главы государства на торжества с военными маневрами и тренировками беспардонных спецслужб.

Армейские полевые кухни в огромных белых палатках кормили многочисленных участников торжеств праздничной солдатской кашей.

Центральное телевидение в вечерней передаче сообщило о пятидесятилетии со дня полного освобождения Санкт-Петербурга от вражеской блокады и почтило память лишь шестисот двадцати пяти тысяч погибших, видимо, впопыхах справившись по энциклопедии сорок девятого года. Впрочем, кто же их считал, кто теперь сосчитает, за полтора миллиона давно перевалило, но подсчет продолжается.

Вот такой праздник.

Мамина скромная, в сущности, мечта, чтобы все было как у людей, наверное, исполнится, но в другой четверг, после другого дождя.

Нет папиного брата Аркадия, не вернувшегося с боевого задания летчика Волховского фронта, нет уже и младшего брата мамы, неукротимого в веселье Георгия, худо-бедно, а на своем горбу катушку связи до Берлина дотащившего, нет дяди Юры, всю блокаду с инженерной обстоятельностью занимавшегося контрбатареями борьбой с противником, это заряды для его 152-мм пушек запоздало просил Жданов у Сталина...

А мама в этот день всегда вспоминала какого-то мальчика, лет четырех-пяти, которого встретила декабрьским вечером сорок первого года, медленно бредущего по занесенному снегом Малому проспекту.

«Куда он шел? Откуда? Чей? Глаза открыты, вот так вот, а идет, будто слепой старичок... У меня же вас трое, мама лежит, ну куда, куда я...»

Мама всякий раз начинала плакать, словно оправдываясь за свою вину перед этим прохожим. И еще она не могла забыть и всегда в этот день вспоминала глаза пожилой женщины, еще живой, но уже прислоненной к груде трупов на станции Борисова Грива.

«Я же вижу, она на меня смотрит, живая... Говорить уже не может, не шевелится. Пожилая интеллигентная женщина... Вот так вот смотрит, как «пиковая дама». Так страшно...»

Мама всегда плакала в этот день, это был ее праздник.

Теперь я буду вспоминать и этого мальчика, и эту женщину, может быть, кроме нас с Сергеем, их и вспомнить уже некому.

*Ленинград – Санкт-Петербург. 1942 – 1994*

## СВИДЕТЕЛИ НЕИЗБЕЖНОГО

### Блокада как художественная реальность

*И кто знает? может быть, некогда история сделается художественным произведением и сменит роман так, как роман сменял эпопею.*

*В. Г. Белинский. «О русской повести и повестях г. Гоголя». 1835 г.*

Название своей публикации, не лишенное некоторой изысканности, я взял из дневника не очень грамотной, в школьном понимании, малообразованной молодой женщины, двадцати семи лет, бойца батальона МПВО (местной противовоздушной обороны).

У этого блокадного дневника нет никаких литературных корней.

С натяжкой можно считать литературной приметой, вернее литературным эхом, разве что адрес, где писался этот дневник, – Гороховая улица. Только это не прославленная именами Обломова, Рогожина, Распутина и Дзержинского знаменитая Гороховая, начертанная гениальной рукой Петра Михайловича Еропкина, излучаемая Адмиралтейством вместе с Невским и Воскресенским проспектами. Это другая Гороховая, на окраине, в Старой Деревне, по сути дела проулок, обозначенный именем одного из первых владельцев местных дач, где-то между Черной речкой и Серафимовским кладбищем.

В этом блокадном дневнике, в трех тетрадках, насчитывающих две сотни страниц, вы найдете предельно искренние свидетельства, поражающие трагизмом будней и едва ли не в большей мере духовной свободой, независимостью мысли и чувств автора.

Самое же поразительное, быть может, в другом.

В этих записках, в дневнике натыкаешься на образчики русской прозы столь высокого уровня, какой подчас недоступен и авторам многостраничных повествований про ленинградскую блокаду. С пера, не направляемого строгими правилами грамматики, ведущего запись почти без помарок широким почерком, какими-то, по-видимому, незамерзающими чернилами, сходят фразы, заставляющие вспомнить перо Гоголя, Чехова, Луначарского, Зошенко, Платонова.

Как же так, малограмотная, пишущая «Питергоф», «отсюда», «пошла к сестры Лены», далекая от литературы и литературных занятий медсестра, командир взвода МПВО, – автор уникального литературного памятника блокады?

Попавший ко мне дневник, блокадные записки, читается как конспект, черновая запись, с отдельными прописанными кусками ненаписанного романа. И не написан он, может быть, от несообразности человеческих сил замыслу воссоздать в эпической полноте то, что представлено в беглой изначальной записи.

Надо было бы сказать, что дневник этот попал ко мне случайно, но после его прочтения все кажется значимым и предопределенным. Так бывает под впечатлением от настоящего художественного произведения, обостряющего слух и глаз, заставляющего искать и видеть значимое во всем окружающем.

Год-полтора тому назад меня пригласили в обычную питерскую школу на встречу со старшеклассниками. Тема встречи заранее не была обозначена. Я был немало удивлен тем, что зал, где собрались школьники и преподаватели, был увешан листами с цитатами из моей в сердцах написанной повести «Блок-ада».

Мало того. Ребята читали по страничке, по полстранички приглянувшиеся им отрывки из моего бесхитростного рассказа о том, как кувыркалась наша семья в блокаду. Потом разговаривали, долго, пока не кончился в зале кислород. На прощание мне подарили дневник, о котором веду речь, попавший к дарительнице, как я понял, чуть не из третьих рук.

Таких дневников не читал и в руках не держал.

«18 января 1943. По радио передали, что блокада прорвана. Ленинградские и Волховские войска встретились. В городе всю ночь передавали музыку, вывешены флаги. Есть дураки, которые плачут и бросаются в объятия».

Это запись убитого блокадой человека.

Она видит флаги, слышит музыку словно из могилы своего семилетнего сына, похороненного на Шуваловском кладбище вместе с ее братом, его женой и их сыномевой. Все они были зарезаны 13 января 1942 года мародерами в поселке Левашово. Именно туда от снарядов и голода, в семью брата, спрятала свою единственную радость и опору в жизни Елизавета Турнас. Мальчик был убит тремя ударами ножа в грудь. Она слышит музыку, видит ликующих, похоронив себя и рядом с сыном, и во рвах на Серафимовском кладбище, куда свалены в четыре слоя, и ее руками тоже, тысячи трупов «непригодных для жизни» людей.

Это их голос: о чем радуетесь, дураки!

Только они имеют право на эти слова.

Вот и моя «Блок-ада» была написана в оскорблении «праздником», который устроила себе новая власть, на фоне «славной пятидесятилетней годовщины снятия блокады Санкт-Петербурга». Произнести слово «Ленинград» им не позволяло новое, демократическое, вероисповедание...

Нет, не случайно попал в мои руки этот дневник!

Значит, и во мне, блокадном несмышленишке, на всякий случай уцелевшем, Город повелел сохранить то же самое чувство, что заставило изможденную всеми мыслимыми и немыслимыми муками и бедами блокадницу, бойца осажденного Города, записать поражающие слова.

Естественно, на ТАКИЕ слова я не имею права, но в чувствах мы близки.

Неслучайна моя встреча с дневником Елизаветы Турнас, как мне теперь кажется, и еще по одной причине.

Дважды я обращался к «феномену Петербурга», пытаюсь объяснить прежде всего самому себе, что же такое этот «феномен», не миф ли это, порожденный причудами честолюбий, а если не миф, то...

В первом обращении, в книжке «Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург», центральной была мысль о том, что город этот – завершенное художественное произведение как в своей истории, так и в материальном воплощении. Читателю были предъявлены три художественные формы этого воплощения – музыкальная, в повторах и ритмах, эпическая, в его поучительной истории, и монументальная, в наглядном материальном овеществлении.

Определение Петербурга как завершенного художественного произведения нынче стало уже общим местом и произносится вполне бессмысленно, а зачастую и со смыслом, противоположным здравому.

По здравому же рассуждению жизнь художественного произведения начинается по завершении. И в этом качестве Петербург – Ленинград утвердился в сознании многих людей и существует во всем многообразии воздействия на умы и души, как и полагается подлинному и значительному произведению искусства. Завершенное произведение – значит, состоявшееся, не нуждающееся в прибавлениях, достройке, имеющее начало и конец.

Сейчас, когда история усердно переписывается, хорошо бы напомнить переписчикам совет Аристотеля, слава богу (скорее всего, Зевсу), оставленный им в «Поэтике» для определения существенного или несущественного в произведении искусства: то, присутствие чего или отсутствие, не влияет на целое, не является его органической частью. Здесь и ответ на вопрос, можно ли принизить, считать недоразумением, в конечном счете, вычеркнуть историю Ленинграда из истории Санкт-Петербурга.

Пафос второго обращения к «феномену Петербурга» – поиск ответа на вопрос, как и почему Петербург – Ленинград стал лоном, породившим новый, и для России и для Европы, социальноисторический тип человека – русского интеллигента.

Для прочности конструкции недоставало третьего элемента. Нужно было предъявить материальное свидетельство того, как это «художественное произведение» порождает особый тип граждан, своих горожан, наделяя их особого рода слухом, способностью слышать свой Город, как таежник, воспитанный лесом, слышит тайгу, и выражать услышанное. Можно ли увидеть, как Город возвращает интеллектуально и духовно независимую личность?

Слух – это особая категория, его невозможно подделать, как нельзя подделать порядочность, вот почему «ряженные петербуржцы» сплошь и рядом «дают петуха». И едва ли случайно какой-нибудь господин, уже уверивший доверчивую публику в том, что он и есть чуть ли не образцовый петербуржец, вдруг объявит по радио о том, что «у нас в Ленсовете сложился хороший задел по лицам». Как говорила моя матушка, Бог шельму метит.

Не случайно, наверное, великие петербуржцы – Блок, Достоевский, Гоголь, Пушкин – прибегали к музыке как доказательству окончательному.

Увидеть процесс становления и перехода в любом исследовании – дело едва ли не самое трудное. Вспомним хотя бы, как важно для понимания природы увидеть порог, а еще лучше шаг через этот порог, когда неживая природа обращается в живую.

Дневник Елизаветы Турнас (не знаю ни ее национальности, ни места рождения и не придаю этому никакого значения, так как иными мерками отличает своих детей и чуждых ему Город), о котором веду речь, и есть свидетельство того, как горожанка, обладая «петербургским слухом», становится голосом Города, как бессознательно речь ее становится художественной, иначе Город и не может говорить о себе.

Что отличает, какие тона характерны для этого голоса?

Естественность. Отсутствие позы. Простота, не лишенная изящества.

Ирония, зачастую обращенная на себя.

Бесстрашие перед лицом невероятного, невозможного, запредельного. Сознание себя частицей России, ее судьбы.

Все это есть в дневнике Елизаветы Турнас.

А начинается этот дневник примерно так, как начинаются школьные сочинения на неизбывную тему «Как я провел лето». И первые строки, достойные открыть художественное повествование, тут же тонут в веренице простодушных фраз.

«Весна 1941 г.

В этом году долго пришлось ждать весну. Наконец растаял снег, но тепла еще не наступало. Северные ветры неумолимо дули каждый день, принося холодные дожди. Мы с сыном начали копать огород в надежде посадить овощи и цветы. Других занятий не было, и мы с усердием принялись за эту работу.

*(Цитируя запись, я позволил себе сохранить некоторые огрехи орфографии, необходимые для обозначения дистанции между прописной и духовной культурой автора.)*

Почти каждый день ходили в лес за колышками для забора и подпорками. Вити очень нравилось это занятие, он любил помогать мне во всяком деле. В десятых числах июня были засажены огороды. Мы с Витей пошли опять в лес, было очень холодно. В лесу нас застал сильный град и довольно продолжительный снег. Мокрые и замерзшие вернулись мы домой...»

Вот такое эпическое начало. Ни слова ни о себе, ни о родне, ни о муже, ни о работе. Такой интонацией начинаются повествования, в которых автор уже предвидит долгую дорогу и не спешит заполнять необходимые клеточки сюжетного кроссворда. Впрочем, в этом дневнике автор нимало не заботится о «читателе» и не собирается ему что-то разъяснять и втолковывать. И оттого, что традиционно необходимое остается непредъявленным, приобретают особую зна-

чимость как бы необязательные подробности жизни и судьбы обломка семьи и обреченного на уничтожение Города.

Обозначение записей датами подсказывает название – дневник, в строгом же смысле это скорее «Записки», жанр несколько неопределенный, тем не менее освобождающий автора от обязательств поденной записи. Записки Елизаветы Турнас – это хроника трагического возвышения личности. Тем важнее, как потом уже понимаешь, размеренность первых страниц, почти пасторальных.

«Говорили, что такие поздние холода погубят урожай. Долгие вечера мы с Витенькой проводили дома за чтением книг. Я испытывала огромную радость от общества с сыном. Он начинает все понимать, чувствовать и жить одной мыслью со мной. Меня радует, что он видит во мне товарища, не скрывает от меня своих бед и нужд и вместе с тем очень скромен в своих требованиях. Рождается счастливое чувство, что он и я – это одно. Теперь я никогда не буду одинока, что так остро ощущала раньше».

Город проведет ее всеми кругами ада, отнимет сына, и сентиментальный стиль изначальной петербургской прозы сменится жесткой, со скрежещущим «ж», цветаевской фразой: «Я так сжилась с ним, что мне кажется, он был всегда, даже в моем детстве». Но это же в аду, а пока...

«Жизнь протекала своим чередом. Денег у нас хватало. Один раз в неделю бывали в городе, ходили в театр или кино. Сын начал интересоваться театром, особенно детскими постановками. Особенно ему понравились балет «Балда» и постановка ТЮЗа «Аленушка».

Вот так питерцы и произрастают, так их и растят. Семи лет еще нет – интересуется театром. Детскими постановками, и балетом, и драмой.

Как клен и рябина растут у порога,  
Росли у порога Растрелли и Росси. И мы отличали ампир от  
барокко,  
Как вы в этом возрасте ели от сосен.

*(Александр Кушнер)*

«21-го июня была суббота...»

Все даты в дневнике наследника, а потом и хозяина земли русской помечены указанием «четверг», «пятница», «суббота». А у Елизаветы Турнас, может быть, и случайно, уж во всяком случае бессознательно, соскользнувшее с пера «была» обнаруживает слух, позволяющий запечатлеть эпическое движение времени.

«И был день второй...»

«Мы с Витей поехали к Вл. Ив. Этот день, как и многие другие, прошел обыкновенно, за чаем, патефоном. Поговорили о том, что нового в политической жизни, но особенностей никаких не было».

Вот эту жизнь она вспомнит и с горечью крикнет в небесную пустоту: «Неужели я так много хотела, что у меня отняли все».

Но это она запишет уже в конце марта 1942-го:

«Если допустить, что есть Бог и он сейчас ведет расправу за грехи человеческие, то по видимому, я самая большая грешница, ибо большего наказания не придумать. А может быть, я и ошибаюсь. Мне свое горе кажется необыкновенно тяжелым, но если вникнуть в жизнь окружающих, то видишь, что нет предела человеческим страданиям».

А это в мае, тоже 42-го:

«После смерти сына я хотела поверить в Бога, для этого я читала много о нем, тогда меня это успокаивало, правда, пока держала книгу в руках, но теперь я начинаю верить и боюсь. Порой мне хочется крикнуть: Господи, мирюсь со всем, только не накажи меня больше. Но я



чувствую, что буду страдать еще и еще. Еще недавно я думала, что больше, чем я перенесла, ничего придумать нельзя. Но теперь я вижу, что несчастьям может и не быть конца. На моих глазах может погибнуть с голода или болезни моя сестра, мне может оторвать руки, и нужно будет валяться, как чурбак, причинять горе другим и страдать самой. Я боюсь всего».

Попытка обращения к Богу в конечном счете завершится взаимным равнодушием.

Но вернемся к повествованию.

Кто такой Вл. Ив., которому наносятся регулярные субботние визиты с ночевкой? 28 марта 42-го Вл. Ив. вывезет «Веру с ребятишками в Пестово» и окончательно исчезнет со страниц дневника.

Диспозиция расположения родни в пригородах – в Тайцах, Сестрорецке, Шувалово и Левашово – понятна только автору.

Сестра Лена с сыном, именуемым по-домашнему Лидей, живет на улице Герцена.

В Шувалово живет свекровь, именуемая мамой и почти не присутствующая на страницах дневника, поскольку, надо думать, сравнительно благополучна. В сорок втором она купит козу – это когда в городе и собак-то подъели.

Освобожденность дневника от обязательного груза – свидетельство той свободы, которая необходима для произвольного и искреннего сообщения о самом важном. И художнику самому знать, что важнее: пчелы, не ведающие о войне, или левашовская мама, в связи с началом войны не упомянутая.

«22-го июня с утра пошли с сыном в баню, Вл. Ив. собрался ехать в магазин покупать костюм. Было 12 часов, когда мы помылись и вышли из мыльной в раздевалку. В раздевалке меня поразило поведение женщин. Почти все плакали, ахали и поспешно одевались и уходили домой, даже те, кто еще не мылся. Я решила, что произошло что-нибудь здесь, и с этим вопросом обратилась к соседке...»

Вспоминается недавний приторно художественный фильм, исследующий, как говорили комментаторы, отношения Гитлера с его полуженой. Фильм начинается с предъявления героини, в банной наготе совершающей нечто вроде гимнастической разминки в романтических декорациях замка в Альпах.

Художественный изыск вызывает изумление, как бег канатоходца по веревке над пропастью со стопкой тарелок на голове.

Органическая художественность невыдуманной жизни потрясает.

«Разве можно сравнивать?»

А это вопрос к тому, что практически одновременно предъявил мне дневник и фильм.

Мать и сын, нагие, предельно незащитные, вступают в войну.

Всего шаг – из мыльной в раздевалку.

В раздевалке уже война, первый шаг в безумие. Женщины уходят, убегают, забыв помыться, будто и вправду между мыльной и раздевалкой уже непреодолимая пропасть. Та, мирная жизнь, уже недостижима.

Образная сила бытовых коллизий всегда восхищает, но их надо еще заметить, записать как важное.

Поразительна и эта подробность, дающая расширительное представление о житейском укладе, так кратко и емко: «Я решила, что случилось что-нибудь здесь». То есть в бане, в раздевалке. Привычка к шумным бытовым происшествиям, с раздорами, с непредсказуемыми поступками вроде бега немых из бани казалась если не нормой, то единственно возможным.

«Война! – был мне ответ. Но с кем же, недоумевала я, и решила, что это смеется».

Ей объяснили: только что выступал по радио Молотов. Германия напала на Советский Союз. Бомбили пять городов.

«В груди у меня что-то сжалось, как будто нависла какая-то тяжесть. Даже Витенька молча быстро стал одеваться, как будто понимая, что это значит. Мы бежали, бежали до дома,

навстречу шел Вл. Ив. Костюм, конечно, отошел на задний план. Мысли приняли совсем другой оборот. Мы с Витей сразу уехали в Тайцы. Быстренько приводились в порядок все домашние дела. 23-го взяли Вл. Ив. в армию и призвали меня».

В этих семи коротких фразах, очертивших путь героини из мира в войну, из мыльной в армию, таится истинное вещество прозы. Буквально на глазах, по мере чтения, кристаллизуется литературное качество записи. Уже ближе к концу явится стилистически цельный отрывок, выдержанный в гротескно-патетических тонах, а трагические финальные страницы оборвутся в предельном изнеможении оброненной фразой, без авторского умысла рифмующейся с финалом гоголевских «Записок сумасшедшего».

Автор сама чувствует, догадывается о происходящих с ней преобразованиях, чувствует себя другой, год блокады «усовершенствовал» ее, и, как ей кажется, напрасно.

«5 апреля 1942 г. Многое показал и дал почувствовать этот год. Я стала совсем другой, только все это уже не нужно, это стало не зачем, усовершенствовать себя не для чего и не для кого. Все вспоминается Витенька с закрытыми глазками, приоткрытым ротиком, ко всему равнодушный. Уже ничем не вывести его из этого состояния. К чему все житейские затеи».

Лишь мастерам удастся заставить читателя увидеть трагические коллизии своими глазами.

Без всякой художественной оснастки, лишь доверяя своему чувству и слову, автор обращает ко мне самую жизнь, как не сыгранную ее сыном игру.

Что ж, по сравнению со смертью жизнь, конечно, игра, и с высоты, из бездны смерти, все видимое и сущее – житейские затеи!

Мне как бы уже заранее жаль тех, кто будет, я надеюсь, читать этот дневник и не заметит слов, рассчитанных как бы на «петербургский слух».

«11 апреля. Сегодня пойду в Шувалово. Досадно, что никак не могу привезти крест и ограду, ни за какие деньги не достать ни лошадь, ни машину».

Крест и ограда металлические, деревянные не простоят и дня, украдут на дрова.

Но вот это словечко «досадно». Оно может показаться недостаточным для выражения сильного чувства, на грани отчаяния. Помню, как у нас в семье известие о трагической гибели всеми нами любимого юноши, моего племянника, мама встретила словами: «Какая досада...», чем вызвала немалое удивление родни, еще обживавшей Ленинград. Так же и чеховскую Ирину, в ответ на известие о смерти Тузенбаха произнесшую лишь: «Я так и знала», люди, склонные к более обстоятельному посвящению окружающих в свои чувства, подозревают в черствости.

Когда я дочитал дневник, мне показалось, что сам Город избрал именно ее доверчивую и чистую душу зеркалом великого страдания и подвига. Сама же она едва ли об этом даже догадывалась.

Вспоминается, что в языческих культах существовали инперсонаторы – люди, назначаемые живым олицетворением божества или незримых правящих сил.

Вот и Город, осененный именем христианского апостола и царя-безбожника, не лишенный в этой связи самоиронии, позволил себе такой языческий жест.

Вполне магический сюжет.

Город как высшая незримая сила избирает себе инперсонатора, возлагает всю тяжесть выпавших испытаний, водит ее рукой, ведет свою тайную летопись, доверяя ей свои самые сокровенные мысли и чувства.

Женщина живет своей жизнью, не подозревая о миссии.

Удручает «художественность» сопоставления, но не всем же дано говорить так просто и емко, как говорит и пишет Елизавета Турнас.

Стихийное творчество на изначальных уровнях привычно определяется как примитив. И если примитив в живописи, музыке, поэзии – это, как правило, действительно первые шаги,

то что такое «примитив» в прозе? Сказка? Но это еще не проза, «примитив» как игра в прозу – уже не проза, это причуды пресыщенного вкуса.

В самом письме Елизаветы Турнас для меня много необъяснимого.

Пунктуация у нее, что называется, самая приблизительная. Но, когда возникает необходимость выразить интонацию, она прибегает к приемам, каковые не преподаются в школе, но употребляются классиками. Например, вопросительный или восклицательный знак в середине фразы с последующим тире и продолжением с прописной буквы.

Кто вел ее замерзшей, обожженной, еле отмытой рукой медсестры, не дающей чернилам замерзнуть в ледяной казарме и делающей записи между выездами к очагам поражения, то в ущерб своему отдыху, то в шесть утра, очнувшуюся от затяжной бессонницы?

Очаги поражения – это место ее работы.

Застигнутая «в городе», как называют центр обитатели окраины, артобстрелом или бомбежкой, она спешит что есть силы не в укрытие, а в свой батальон, чтобы успеть по окончании очередной карательной акции к выезду своей машины. Она спасает, делает все возможное, чтобы спасти людей, извлекая их из-под рухнувших домов, обвалившихся щелей, заваленных бомбоубежищ.

Кто возвысил ее слог до высокой литературы?

Не литературные кружки, не особая начитанность. На этих страницах не появится ни одного литературного имени, только одна цитата, «надежды юношей питают», да отблеск лермонтовской «жажды мести».

У меня только один ответ.

Не она почувствовала себя, осознанно и гордо, голосом Города, как это стало с великой блокадницей Ольгой Берггольц, а Город выбрал ее, Елизавету Турнас, неразличимую даже в блокадном малолюдстве, своим голосом. Иного объяснения у меня нет.

Пересказать можно сюжет, но разве можно «своими словами» пересказать «Бежин луг» или «Певцов»? Все дело в том, что у настоящего автора СВОИ слова.

Как раз первыми своими словами Елизаветы Турнас стали для меня вынесенные в заголовок – «свидетели неизбежного».

Такое случайной обмолвкой быть не может. Слова эти относятся к горящим и разбитым домам поселка Тайцы, что между Красным Селом и Гатчиной.

«В конце августа немцы подошли к Кингисеппу и продвигались на Гатчино и Питергоф. 6-го сентября получила увольнение и пропуск в Тайцы. 7-го в 12 час. я садилась на поезд. При предъявлении документов милиционер посмотрел на меня с явным удивлением... Доехали до Красного Села, я спросила кондуктора, пойдет ли дальше поезд. «Нам еще не надоело жить», – был ответ. Дальше я пошла пешком... Недалеко за Красным Селом рвались тяжелые снаряды, непрерывно била артиллерия. Дошла до Дудергофа, взошла на гору, далеко оттуда можно было видеть. Рядом был фронт, но видела я только столбы дыма от взрывов снарядов и слышна была артиллерийская канонада...

...Наконец я добралась до поселка, мне показалось, что я год не была здесь. Но и здесь все изменилось. Поселок был наполнен военными, стояли машины, танки, пушки. Магазины и почта были заколочены. Население эвакуировано. В этот день били по Тайцам дальнобойные орудия. Домишки вздрагивали, скрипели, сыпались стекла, и казались очень жалкими и ничтожными в сравнении с той силой, которая на них надвигалась. Дом наш оказался со всех сторон закрытым...

Все было на своем месте. Каждая вещичка напоминала мне мирную жизнь, и только теперь я ее оценила. Как ничтожны мы и наши желания. Какая-то кучка людей, а может быть и один человек, перевернули жизнь миллионов людей, повергнув их в бесконечную нужду и страдания. В комнате я не могла оставаться, не выдержали нервы. Ушла в сад. Пчелы мирно крутились над ульями. Пышно цвели цветы, несмотря на то, что за ними никто не ухаживал,

но никто и не срывал. На грядках лежали спелые огурцы, их тоже не трогали. Станным казалось, что все это будет растоптано и уничтожено, но свидетелями неизбежного были рядом разрушенные и сожженные дома.

К вечеру обстрел усилился, военные удивились моему пребыванию здесь и советовали скорее уйти.

Я ушла, бросив прощальный взгляд на комнату, где протекла моя бесцветная, безрадостная, но все же мирная жизнь.

Обратный путь был еще более страшным.

Не чувствуя усталости, я почти бежала до Красного Села. Из Красного Села срочно эвакуировали население. Мужчины и женщины с детьми, с мешками шли по направлению к Ленинграду.

На станции стоял состав, шла погрузка раненых. С этим составом я доехала до Л-да».

Именно на этих страницах меня остановили «свидетели неизбежного» – разрушенные и сожженные дома.

Нельзя быть свидетелем этих событий и остаться целым и невредимым. Этими словами она пророчествует о себе, обо всех нас.

13 января в Левашово вырезали семью брата, убили сына, единственного человека, наполнявшего ее жизнь смыслом. Первая после похорон запись только 27 января.

«Опустошилось мое сердце. Ушли все человеческие чувства. Нет больше места жалости и любви... Как мне жить без тебя, и зачем. Пусто кругом. Все ужасы войны – голод, обстрелы, бомбежки – кажутся ничтожными в сравнении с тем горем, какое выпало на мою долю. Теперь я боюсь улучшения, будет слишком обидно, пусть лучше смерть всем. Пусть убивают, отравляют газом, все равно жизни нет.

Наше формирование полностью выходит из строя. 95 % лежаче больных, т. е. истощенных голодом. Ходят 8 человек, которые не в состоянии привезти из Невы воду для супа и чая. Паек настолько ухудшился, что нисколько не чувствуешь сытым себя после обеда. Единственно поддерживал хлеб, и его теперь не доставляют, т. к. пекарни не могут снабжаться водой. Бойцы валяются на корридорах в казармах, умирает по нескольку сразу, и никто не обращает внимания. Это участь каждого. И нисколько их не жаль, только хочу, чтобы умирали скорее, это скопище грязи, ругани и стонов. Казармы настолько загрязнены, что белого цвета вообще не существует. Вшивость поголовная, вонище невероятная, и все это именуется воинская часть. Голодные люди безобразно-страшные. Такая тоска, и никакого выхода, хоть бейся головой об стену, так тошно. Раньше хоть жила надеждой увидеть сыночка, здоровенького, радостного, а теперь, куда пойти, с кем отвести душу. Просила отправить на фронт – не пускают. Хоть бы убили, чтобы не умирать в этой помойке такой пустой смертью».

И снова в этом полном отчаяния и боли признании поразительные слова – «пустая смерть».

Пустая смерть, сколько ее было на войне, всегда повергала в отчаяние. У Василя Быкова об этом – повесть «Дожить до рассвета».

Жизнь утратила свою абсолютную ценность, но так хочется обменять ее на что-то существенное, а обменять ее на жизнь сына – несбыточная мечта. Из записи 21 апреля 1942 года, кстати, в день рождения героя высочайше художественного фильма.

«Володя, уезжая, сказал, обвинять в смерти сына никого нельзя. Это неверно. Я не хочу обманывать себя, да и никого – виновата я сама... Всякое убийство бледнеет перед таким преступлением. Я не должна была оставлять в этом огненном кольце сына. Если не поехала Вера, нужно было бы уехать самой, пусть была бы дезертир, но не убийца своего сына. Пусть бы меня расстреляли, но был бы жив мой сын. Я ничтожество, не достойное ничего лучшего».

«Пустая смерть» не оговорка, 25 марта она скажет поразительные слова о «славном городе» и людях, обреченных на «бесславное вымирание».

Она знает, что может погибнуть, и даже сын, когда еще был жив, не был оправданием для уклонения от опасности. Она шла на смерть, если риск был сопряжен с ясным смыслом, спасением, например, хотя бы одной жизни.

В моем словаре нет иного слова, кроме слова «самоотвержение», но именно о нем, о самоотвержении воюющего Ленинградца, думаешь и изумляешься естественности человеческой солидарности для этой особой породы людей.

А как же «хочу, чтобы умерли скорее...»?

Это слова. Это крик бессилия, а вот поступок.

19 декабря. Город вступил в самую страшную пору своего противостояния.

«Вчера была у сыночка. Он здоров. Надоело ему болтаться по чужим домам. Я спросила его: «Витенька, скоро ли кончится война?» Так он только заплакал в ответ. Братишка мой все попивает. Почти всю ночь я не спала, все любовалась своим сыночком. И казался мне он таким красивым (он спал, был румяненький, со спокойными чертами лица) и бесконечно дорогим. Я бы перенесла любые испытания, только бы голод, обида и страдание не коснулись моего сына...

...Девочки все ходят, носы опустив, у всех по дому неприятности. (! – М. К.) Обстановка в городе ужасная. Голод, как прожорливый хищник, уносит обреченных на жертву. Сегодня командированы все бойцы района на кладбище зарывать огромное скопление трупов.

Могилы рыть нет никаких сил, а поэтому решили в щели, вырытые на кладбище и поблизости, заложить амонал и взорвать, в эти ямы свалили груды трупов. Зарыть нужно было около 6000, но навезли вероятно больше, остались работать на ночь. Привозят их прямо на грузовых машинах, наваленных, как дрова. Картина уму непостижимая. Тяжелая артиллерия бьет по городу почти непрерывно.

...Завтра иду на рискованное предприятие. Может быть, я и не имею права рисковать своей жизнью, она нужна сыну, тем более, что нет Коли, как бы не осиротел мой мальчик.

Еду завтра под Шлиссельбург с одной из наших девочек, у нее там помер отец, она хочет его разыскать, а сама очень еще молодая, совсем девочка и окончательно убита горем, истощена недоеданием. Погибнет в пути ни за что. (Пустая смерть! – М. К.) Чувство долга заставляет помочь ей в трудную минуту».

Кажется, что она повторяет слова пионервожатой, но, когда за ними поступок, это великие слова и такие простецкие – «трудная минута», всего-то!

«Одно страшновато, что там фронтовая полоса, как бы шальной снаряд не уколошил. Если это случится – прошу всех родных – не оставляйте моего сына, не обижайте его, помогите вырасти ему и стать порядочным человеком».

Эй, третирующие «совков», вот вам идеалл. Мать не желает сыну ни богатства, ни счастья, не желает ему особой судьбы, желает только одного: «стать порядочным человеком». Это доступно, это реально, даже на войне, даже в блокаду.

«Если суждено вернуться Коли, пусть будет хорошим справедливым отцом для сына. Обучите его, если будет хоть малейшая возможность. Еще одна просьба к Коли, пусть скоро не женится. Страшно подумать, что Витеньке придется жить с мачехой».

Идти и на вполне вероятную смерть не страшно, страшно о мачехе подумать!

«Приласкайте его, он очень нежный мальчик, научите любить людей и ценить любовь. А к нему одна просьба, пусть хоть изредка вспоминает маму. Впрочем, Бог не без милости, авось и ничего страшного не стряется, ведь есть же там люди».

Последние слова опять поражают: «Бог не без милости – есть же там люди». Вот такая вера.

А наше неизбывное «авось»? Нет, это не от беспечности или легкомыслия, завещание о сыне она напишет на три адреса, обстоятельно. «Авось» – это так, для самоутешения, для ободрения себя, нельзя же пускаться в рискованное предприятие, повесив нос.

Вероятность вернуться живой была, но была вероятность и не вернуться, поэтому, кроме записи в дневнике, оставлен конверт с двумя письмами. Одно – сестре Лене.

«Лена! Это письмо я пишу тебе на тот случай, если меня постигнет печальная участь. Дело вот в чем, завтра я еду под Шлиссельбург, станцию сейчас не помню, ну, а там фронтовая полоса, совсем близко немцы. Еду я туда добровольно с одной нашей девушкой. У нее там умер отец, она хочет его разыскать, тем более, что узнала об этом не совсем из достоверных источников. Одной ей ехать нельзя, т. к. она почти еще ребенок, очень молоденькая, истощена недоеданием и очень убита горем. Ничего ей одной не сделать будет, а только погибнет в дороге от горя, холода и голода. Так вот долг чести обязует меня ее сопровождать, т. к. нашли, что я толковый человек и смелый. Нам выписали туда командировку. Правда, моя совесть еще и о другом говорит, что у меня есть сын, и рисковать жизнью я не вправе, но ведь нельзя не помочь человеку в трудную минуту. Может быть, там и не очень опасно. Отпущена на сутки. Если не вернусь, тебе передадут. (Письмо. – М. К.) Если суждено мне найти там свою кончину, то очень тебя прошу, приласкай моего сыночка, помоги ему в трудную минуту, посмотри, чтобы его никто не обижал. Исполни его детские просьбы. Вообще не выпускай его из поля своего зрения. Хоть частично замени ему мать... Я здесь задолжала девочкам 250 р., отдай долг и возьми вещи. Будь здорова. Лиза Турнас».

Если память не изменяет, умиравший от пули Каховского военный губернатор Санкт-Петербурга, генерал от инфантерии Милорадович, принесенный на руках в вестибюль Сената, тоже напомнил караулившим его смерть о долгах, которые сам уже отдать не сможет. В этом городе так принято.

В один конверт, адресованный сестре, вложено и письмо брату.

«Коля! Прочти письмо к Лены и тебе все будет понятно. На этом клочке бумаги я излагаю последнюю просьбу к Тебе и Шуре. Не оставьте моего сына без внимания. Сделайте все возможное, чтобы он не очень грустил по мне. Берегите его здоровье. Он упрям, но не ломайте его характера, эта черта ему пригодится в жизни. Не будьте к нему очень строги и требовательны, он все-таки был один сын у родителей и привык к поблажкам. Вы любили меня, спасибо вам за это, перенесите теперь эту любовь на моего сына. Помогайте ему всю жизнь добрым советом. Пристыдите тех, кто будет его обижать. Если будет трудно ему в жизни, помогите. Как только с продуктами дело мало-мальски наладится, отвезите его в Шувалово, там тоже не чужие ему люди и обижать особенно не должны. Скажу тебе откровенно, очень бы просила вас поддержать его до возвращения мужа, но ты, Коля, пьешь, а пьяный скандалишь. Витя боится тебя пьяного и очень переживает, когда ты ругаешься. Я это даже помню о себе, когда отец напиивался. Еще просьба мелкого калибра, не наказывай его лишением пищи, лучше поставь в угол, или попори, и не упрекай едой. Мне все это очень тяжело писать и подумать страшно, что я могу оставить сына сиротой. Спасибо вам за хорошее отношение к сыну и прошу еще поддержать его у себя пока существует острая голодуха. Передай Пети и Павлику, что я прошу не забывать моего сына. Е. Турнас».

Кто такие Петя и Павлик, из дневника и писем не узнать.

В Шувалово живет свекровь, почему «тоже не чужие» сыну люди, понять не просто. Но еще труднее людям с современным сознанием, освобожденным от «предрассудков», понять самое главное – «Еду я туда добровольно... Одной ей ехать нельзя... Долг чести обязует меня ее сопровождать, т. к. нашли, что я очень толковый человек и смелый».

Это кто же в воинской части, где 95 процентов «лежаче больных», в скопище «грязи, ругани и стонов», нашел ее толковой и смелой? Неужели и здесь, где «вшивость поголовная, вонюче неимоверная», существует общественное мнение и кто-то этим мнением даже руководствуется?

Есть общественные отношения и есть человеческие, разница!

Ну что ж, продвинутые в цивилизованный мир уже по пояс усовершенствовались до того, что понятие «долг чести» в натуре хождения не имеет и переведено в разряд приколов.

В условиях полной неволи, в осажденном Городе, Елизавета Турнас переживает внутреннее освобождение, в том числе и от предрассудков. Кивай после этого на времена – дескать, такие времена были. Хуже, чем досталось блокадникам, и придумать трудно.

«11 января. Сегодня была на Бармалеевой, когда начался обстрел Петроградской стороны. Первые разрывы послышались у Народного дома, немного спустя, на Большом... Дошла только до конца Бармалеева, как необыкновенная сила сбила меня с ног. Оглушительный треск, и сильное содрогание. Все кругом покрылось черной землей, запахло гарью, дымом и еще чем-то. (Вот эта мгновенная замена белого савана, укывшего улицу, на черный, замечена и внесена в строку. – М. К.) По Геслеровскому в дом 5-а ударил снаряд очень большой силы. Если бы я вышла на проспект, то не бывать мне в живых. Шла в казарму и размышляла по пути. Как недалеко от жизни до смерти. Спросила себя: Лизка, что видела ты в жизни, зачем жила, и что сделала. Даже стыдно вспомнить, как глупо прожила жизнь. В вечном страхе за существование свое и сына. Держать нужно было, смелей шагать по жизни, а я увязалась за мужем, и свет на этом для меня клином сошелся. Общественного мнения боялась, а что делает это общество и суждений не боится. (Кетлинская и Чаковский в обширнейших и многоречивых сочинениях блокадникам никаких таких мыслей не позволяют! – М. К.) Вот и выходит, живи своим умом и для себя не жалея жизни. А сейчас такой тяжелый момент, Ленинград, как на пороховом складе стоит, и я одна совершенно. Николай не находит нужным прислать мне телеграмму, у него есть свои родные, которым он пишет, а я ему чужая... Ну да у меня есть сын, буду радоваться его жизни. Только бы остался он в живых, а это трудно сделать».

И снова поразительные слова: остаться в живых – это надо сделать, именно сделать, так говорят о понятном и знакомом труде.

Хорошо, конечно, когда люди, с которыми делишь лихолетье, считают тебя и толковой, и смелой, но написать завещание и отправиться на фронт, во фронттовую полосу, для похорон, в сущности, чужого человека, человек может только сам и в полном убеждении, что иначе он поступить не может.

«20 декабря. Отправилась с Клавочкой на станцию Дунай. К 19-и час. пришли на Финляндский вокзал, и в 21 час под салют дальнотойных из города отправился наш поезд.

...На ст. Дунай приехали в 1 ночи. Вышли из поезда в глубокий снег. Вокзала нет. Нужно было идти дальше до деревни... таловки (не разобрал. – М. К.), поезд дальше не ходит. Весь горизонт был освещен непрерывно вспыхивающими осветительными ракетами. Это линия фронта. До завода Морозова были попутчики, дальше никого не пускают, а нам нужно было за завод пройти километров 8. По дороге расставлены военные посты, проверяли документы. Нас везде пускали, т. к. были даны командировочные со штаба. Подходили к заводу, подходили к фронту.

Велся непрерывный минометный и пулеметный огонь. Шли лесом, и разрывы ложились совсем рядом. В кустах, как звезды, мелькали бронебойные пули. Шли по берегу Невы, на том берегу стоят немцы и непрерывно обстреливают расположение наших войск. Ну и наши посылают им сдачи.

Нагнали красноармейца, он сказал, что фронттовая полоса от нас полкилометра. Нельзя курить и громко разговаривать. Не знаю, сколько прошли, но казалось очень долго пробирались по разным тропинкам, натываясь на замаскированные орудия, блиндажи и боеприпасы. В 4-ом часу добрались до деревни. Во всех домах размещались военные, никуда не пустили погреться, и ни у кого ничего нельзя узнать, у всех один ответ – «не знаем». Забрались на чердак конюшни. Промокли, устали и голодные, как волки. Заели по бутербродику, хотелось уснуть, но коченели, как только переставали двигаться. Поднялся сильный ветер, неся с собой тучи снега. Дверь распахивалась и сильно хлопала. Внизу кашляла лошадь и монотонно пережевывала сено».

Прочитав последние фразы, я остановился и не мог читать дальше. Перечитывал и не верил своим глазам.

Замерзающая декабрьской ночью, голодная, полуживая женщина не проклиняет тех, кто не пустил под крышу в тепло, а пишет чеховскими фразами о сильно хлопающей двери, кашляющей и монотонно пережевывающей сено лошади!

Кто водил ее рукой: «Поднялся сильный ветер, неся с собой тучи снега»?

«В 8-м часов рассвело, и мы спрыгнули в сугроб и побрели по деревне. Узнали, где рабочие палатки, и пошли в лес. У палатки стояла запряженная в сани лошадь. На санях стояло три гроба. Мы попали вовремя, умерших собирались везти на кладбище. Клавоочка была очень убита горем. Вдвоем пошли с ней за гробами. Хоронили прямо в лесу, в братских могилах. Яма была готова. Мы попросили отца Клавы похоронить отдельно. Отдали хлеб, табак и деньги, и наша просьба была удовлетворена.

Открыли гроб, в нем лежал отец, – рабочий, в рабочей грязной одежде и засыпанный снегом. Привели покойного в надлежащий вид, заколотили гроб и под грохот канонады опустили в яму, и сами зарыли. Вернулись в палатку, там царили нечеловеческие условия. Жара, грязь, вши и голод. Отдохнули часик, похлебали их щей и двинулись в обратный путь, который был столь же трудный и опасный. Но все же на следующий день, в 13 часов мы прибыли в свою казарму».

Вот так завершился сюжет, вполне годящийся для газетного заголовка того времени: «Доверие коллектива оправдала» или «Помогла боевой подруге». Кто только сегодня не потешается над предписанием рисовать жизнь советских людей лишь прямыми и ясными линиями. Бог с ними, с прямыми заголовками и описаниями, жизнь не была прямой, и вот в ней-то разобраться и понять, кем же они были, какими они были, те, кто выстоял сам и сохранил жизнь другим, в конечном счете всем нам, живущим сегодня.

Для специалистов по социальной психологии задача, полагаю, не из простых – разобраться в побудительных и движущих силах, позволяющих совершать поступки, подобные рассказанному выше, людьми, предельно обессиленными и голодом, и адским трудом.

Общественное мнение – «толковая и смелая»? Не знаю, но то, что это не решающий аргумент, почти уверен. Здесь особого рода клубок, где сплетены общественные и человеческие отношения, и человеческое обретает общественную значимость, а общественное наполняется человеческой волей и силой духа.

А вот рассказ Елизаветы Турнас о своем участии, гостевом, в праздновании Международного женского дня 8 марта 1942 года – еще одно опровержение любых схем, еще одно свидетельство того, как многомерно ощущает она жизнь и, что едва ли не самое поразительное, сохраняет способность видеть себя со стороны.

«9 марта.

Все спят. Ночь давно. Мигая, светит коптилка. За окном темно. Жалобно завывает ветер, как отдаленный плач детей. Неимоверно тоскливо, даже страшно. Сегодня совершила огромный путь и теперь еле можаху.

Вчера была в райсовете на собрании, посвященном Международному Женскому Дню. Как поразительно глупы и неуместны показались все выступления и аплодисменты, т. е. все то, что так равнодушно слушали столько лет. Все закончилось выступлением ансамбля красноармейской песни и пляски. Музыка и песни напомнили прежнюю жизнь и кажется, что это было много лет назад. Поразила пляска. Удивляюсь, что в Ленинграде есть такие подвижные люди, которые так щедро тратят силы. Привыкла видеть людей, еле передвигающих ноги. Просто порядком одичала».

Без этой последней фразы рассказ имел бы лишь одну, эксцентрическую, окраску, с этой же припиской все обретает новый масштаб, иные измерения. Никто в мире не посмел бы на ее удивление при виде пляшущих в полувымершем городе людей сказать: «Одичала». Но то, что



это сказала она, говорит так много. Впрочем, здесь начинает казаться, что едва ли эти слова «просто порядком одичала» могла сказать еле «можахающая» женщина, сидящая в глубокой ночи у коптилки, в тоскливом страхе слушающая завывание мартовского ветра... Это ее рукой незаметно приписал Город.

Город постоянно соавторствует в этих записках, внося ударные, невозможные для женщины, пишущей «оттудова», фразы, сообщающие картинам, казалось бы, писанным рукой школьницы, глубину и вес высокой трагедии. Попробуйте выдержать и это описание похорон.

«Вчера ночью, в 4-е часа были мобилизованы все, у кого душа в теле, на кладбище. Там были днем подготовлены ямы в виде длинных борозд, а ночью стали свозить умерших на машинах. Количество внушительное, не меньше двух тысяч. Их сваливали в кучи, затем, чтобы не носить, сил-то ведь нет, накидывают веревку на шею и волокут в яму, да еще и похабные шуточки отпускают при этом. Лучше не вспоминать (шуточки? – М. К.) и без них тошнит. Умирает свыше 20000 в день, и не жаль как-то, слишком люди обезображены и кажется, что так и надо, ибо для жизни они не пригодны».

«Для жизни они не пригодны!» Мало того, что это абсолютно платоновская фраза, произнести ее человек не может, это может сказать только Город, именно этот, привыкший с первых лет существования сваливать в ямы отработанных и больше не пригодных для жизни людей.

Мы же знаем, что Елизавета Турнас не жестокий, не бессердечный человек, а нормальному человеку говорить при виде тысяч умерших в тяжких страданиях «не жаль как-то» вроде бы не подобает. Но она же еще в августе показала нам, как выглядят «свидетели неизбежного», они и сами искорежены и обожжены. Нормальному человеку то обращение со смертью, какое выказывает автор дневника, тоже едва ли свойственно.

«Нет, смерти я не боюсь, но помереть сейчас еще нельзя. Нужно досмотреть эту безобразную картину до конца, нужно вынести на своих плечах то, что возложено на каждого Ленинградца, чтобы не быть малодушным».

Везде «Ленинградец» она пишет только с большой буквы. И это тоже орфография Города. Именно так, с большой буквы, должен был именовать своих граждан Город в эти дни, в эти годы.

Вот автопортрет Ленинградца, исполненный весной 1942 года.

Лиза идет из Старой Деревни на улицу Герцена, к своей «сестры Лены», как она неизменно пишет:

«Я подходила к Биржевому мосту, когда начался обстрел. Целью, вероятно, была Нева, там стояло много крупных пароходов».

Спотыкаюсь об эту почти детскую фразу про «крупные пароходы», эти «пароходы», в том числе и крейсер «Киров», почти от Сенатской площади вели огонь по немецким позициям у Красного Села, Гатчины и Стрельны. Следующие фразы сделают честь литератору, пишущему о войне. Лаконизм. Точность. А дальше – невообразимое.

«Обстрел начался внезапно и такой интенсивный, что раскаты разрывов не умолкали. Народ укрылся в подъездах и парадных, движение остановилось. Я почувствовала страх, и сама себе удивилась. Чего же я испугалась? Смерти? Боялась быть разорванной. Презрение охватило меня. Какая мелкая натура, какой эгоизм. Нет, трусливая шкура, ты все-таки пойдешь, сказала я себе и пошла нарочито медленно, издеваясь над собой. Снаряды свистели и воздух вздрагивал».

Вы слышите, вы видите? Вот бы автор удивилась, если бы ей сказать, что у этой потрясающей фразы еще и корни глубинные. Свист и дрожь. Свист – это позывные нашего старого знакомого, соловья-разбойника, свист, повергающий в дрожь все окрест. А здесь аж сам воздух дрожит от страха в предчувствии взрыва. Воздух дрожит, а женщина в черной беретке, в утепленном жакете (пальто и валенки украли в бане в декабре) идет «нарочито медленно,

издеваясь над собой». Когда здорово сказано, трудно удержаться от восхищения, да она и сама умела ценить настоящую работу.

«За Зимним дворцом поднимались столбы дыма и пыли. Так здорово стреляли, что дух захватывало».

Женщина, медицинская сестра, человек самой мирной профессии, не умеющая отличить пароход от бронепалубного крейсера, украшенного для наглядности орудийными башнями – и вдруг, в духе опаленного порохом бомбардира: «Здорово стреляли!» Уж не сам ли это бомбардир Петр Алексеев снова восхищается своими иноземными учителями?

Зато следующая фраза Лизы и не только ее: «Пришла к Лены, и что же вижу, ее дом без стекол».

Без преувеличений и натяжек – в дневнике звучат два голоса. Голос женщины, матери, блокадницы, бойца – и голос Города.

Всякий раз поражаешься, видя этот всегда неожиданный и столь очевидный выход за пределы своего «Я».

Еще пример? Пожалуйста.

Запись, помеченная 5 апреля 1942 года.

«В 19-ть часов объявили воздушную тревогу. Поднялась ураганная пальба из зениток. Погода была ясная, солнечная. Высоко в небе, как прекрасные бабочки, показались немецкие самолеты. Началась бомбежка, первая после зимних каникул. Гул и грохот потрясали воздух, земля вздрагивала и колебалась».

Не перестаю изумляться не только вот этой внезапной, с трудом объяснимой перемене точки зрения, вернее, системы измерения, но и способности видеть, помнить и записывать то, что видеть и помнить как бы и не надо.

Есть у Набокова такие строки: «И слышу я, как Пушкин вспоминает все мелкие крылатые оттенки и отзвуки». В подробностях – Бог, говорил Гёте. «Крылатые оттенки и отзвуки» постоянно присутствуют на страницах этого дневника.

Еще и месяца не прошло, как вырезали семью брата в Левашово, убили семилетнего сына. Запись 11 февраля 1942 года:

«Жизнь окончательно осатанела. Хоть бы пустили на поле боя, хоть бы убили скорее, мне мучительно грустно одной. На днях купила наган, взяла его в руки и стало почти легко».

Одной – «мучительно грустно», с наганом – «почти легко». Вот такие оттенки. Крылатые. 19 сентября 1942 года:

«Ночь была темная. Только прогудела сирена; и сразу началась стрельба с зениток. Казалось, что рвется небо. Над головой послышался гул моторов, блеснул прожектор, и надо мной начали рваться десятки снарядов зенитных орудий. С жалобным воем и со свистом полетели осколки, – некоторые падали совсем близко, звонко ударяясь об рельсы и отскакивая в стороны... Как бушующее море метались волны воздуха, разбивая стекла и вырывая рамы и двери». Вот и вырванные рамы и двери – тоже «крылатые оттенки», без которых «волны воздуха» были бы расхожей метафорой.

«Недавно наш самолет пулеметной очередью сбил немецкий самолет. Самолет загорелся, а летчик выбросился на парашюте, это было днем, мы обедали в столовой. Кто-то крикнул «парашютисты». Мы вышли и действительно видели, белое облачко спускается. Упал он у пивного ларька, быстро оправился, милиционер помог ему встать, стряхнул пыль с него и повел. Летчик был очень спокоен на вид, только бледноват. Совсем еще молодой, лет 25-и, с орденом Железного креста и внешностью очень красивой».

Первый раз видит рядом убийцу, карателя, отмеченного наградой палача, – красив, молод, бледен... Это смотрит женщина, пусть, но милиционера, стряхивающего с убийцы пыль, не забудешь. Но для того, наверное, и существует искусство.

Женское внимание и стремление к порядку порождает совершенно неожиданные «рифмы». С отца Клавоочки стряхнули снег, «привели в надлежащий вид» и закопали. С фашиста стряхнули пыль и повели.

Вот еще оттенок. 20 августа 1942 года:

«Вчера после суточного дежурства очень устала и днем легла отдохнуть. Пришел Витенька и говорит: «Тише, мама спит», а в комнате очень шумели товарищи, и я это слышала сквозь сон. Подошел и поцеловал меня два раза в губы и стал уходить. Я вскочила, повторяя его имя. Я чувствовала на губах поцелуй, и они были влажные».

Какие тени встают над страницами дневника?

Мы помним шекспировских могильщиков, перебрасывающихся шутками. А похабные шуточки могильщиков на Серафимовском? Вот и нарочито медленный проход молодой женщины по вымершей, пустынной Стрелке Васильевского острова, по самому красивому, эмблемному месту в Городе, под свист и грохот рвущихся снарядов.

И снова тень Шекспира: «Дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щеки...»

Старому сумасброду Лиру грозила простуда, в пожилые годы штука опасная.

Тяжелые снаряды опасны для любых возрастов.

Есть тени и поближе – Гоголя, например.

«2 июня. Сегодня шла за хлебом по пустынной улице. Мысли мои были далеко. Я почти не замечала окружающего. Вдруг, в шагах в 30-и передо мной вижу своего сына. Я остановилась и секунду была уверена, что это он. Нахмуренный лобик, вздернутый носик, взгляд задумчивый, на голове тебיתהка, короткое пальтишко, худые голые коленочки, ботинки с носками кверху. Он повернул ко мне свое личико и смотрел на меня. Я была поражена, но сейчас же мелькнула мысль, что это не может быть Витя. Поспешно подошла к мальчику и увидела, что это не он. Дома моментально приподнялись, улица стала бесконечно длинной, затем все смешалось и исчезло в тумане».

Придумать «гоголевскую» фразу – дело нехитрое, но здесь иной случай. Это фраза документальная, а не литературная, это запись действительного видения, это рисунок с натуры. В Петербурге вовсе не надо шпорить воображение, достаточно фотографически точного взгляда. И поднявшиеся дома, бесконечно вытянувшаяся улица, смешавшаяся и исчезающая в тумане, – это скорее из физиологического, в данном случае, очерка, а вовсе не из сочинения в духе фантастического реализма, как давно уже именуют реализм петербургский.

«Я отошла в сторону и все смотрела и смотрела на него, не в силах оторваться. Он пошел, сел на крылечко и, как мне показалось, с каким-то участием смотрел на меня. Мимо проходили люди и злыми глазами смотрели на меня. Вероятно они заметили, что я слежу за мальчиком и может быть подумали, что хочу его украсть. Скоро мальчик ушел, я запомнила этот дом, буду ходить туда, может быть опять увижу его. В Старой и Новой деревне пропадает много детей, их крадут и режут на мясо. Много людоедов поймано и расстреляно. Вчера видела, как вели пожилую, грязную женщину, говорят, она крада ребят, и ее поймали на месте преступления. Рядом шли толпою женщины, растрепанные и гневные. Они ругали и угрожали ей. Сзади бежала толпа ребятешек, и я слышала, как их звонкие голоса кричали: «Это она, она угворила и увела Катю и Олега». Мороз пробежал у меня по телу. Я подошла поближе, чтобы посмотреть, как выглядит убийца детей, и увидела обыкновенное, грубое грязное лицо, уже все в морщинах. Оно ничего не выражало, даже страха нельзя было заметить. При виде ее меня как-то затошнило, закружилась голова. Я почти ничего не могла сообразить. Пришла в казарму совсем разбитая. Сейчас уже ночь, но мне не уснуть. Перед глазами мой сыночек, то есть мальчик в его образе. Меня так и тянет на ту улицу, может он там стоит и вдруг при виде меня скажет мама, пусть даже не мне, только я хочу слышать это слово из уст этого мальчика.

О, Господи, верни мне сына, я не могу жить без него».

Может быть, не одному мне послышится интонация, ритм фраз «Записок сумасшедшего» в этом отрывке. Но слышится переключка рифм и внутри самого дневника. Мгновенно взрослеющие, словно понимающие происходящее ленинградские дети. Этот мальчик, присевший на крылечко и с сочувствием, то есть как бы с пониманием, посмотревший на странную женщину, сразу же напомнил Витю, поспешно одевающегося в бане, едва прозвучало слово «война», «как будто понимая, что это значит».

Если до сих пор мне удавалось предъявить лишь признаки прозы, хотя и в высшей степени убедительные, то по мере движения времени являются уже отдельные куски, обладающие стилиевой цельностью, плотью прозы. Письмо возвышается до гротеска.

Гротеск – одна из наиболее строгих форм в прозе, подделка тут же оборачивается пошлостью. Нынче примеров тому предостаточно. Привычка к остроумной манере высказываться по любому поводу порождает разливы пошлости, в которой купаются и чувствуют себя, как в родной стихии, и авторы ернических газетных заголовков, и авторы целых чуть ли не романов, сочинений, пригодных для серии под емким названием «Остроумие».

Вот что в марте 1942 года Город, склонный к гротеску, надиктовал своему хроникеру из батальона МПВО:

«Почил сегодня товарищ Неверов. Был ты настоящий русский мужик. Огромный, здоровый, красивый, а главное, честный и справедливый. Безотказно работал ты на оборону города, копал и носил землю под лучами палящего солнца. Начались тревожные дни, не робел, безотказно работал ты в очагах поражения.

Безропотно переносил голод, нужду и семейное горе. Еще недавно ходил хоронить Ленинградцев на Серафимовское. Но всему бывает конец. Упорный голод сломил тебя. Обессилел, запаршивел, оброс волосами, завшивел. В тяжесть стал для команды. Начальники стали величать дармоедом. Вчера решили отписать совсем от части. Сегодня сняли с довольствия, и к вечеру ты скончался. Осталась большая семья, она тоже последует за тобой. Очень много товарищей из нашей команды так погибло и много на очереди».

Это же Луначарский со скрижалей на Марсовом поле!

Не жертвы – герои  
Лежат под этой могилой.  
Не горе, а зависть  
Рождает судьба ваша  
В сердцах всех благодарных потомков.  
В красные страшные дни  
Славно вы жили  
И умирали прекрасно.

Белинский когда-то похвалил Державина за то, что тот украсил торжественную оду, произведение как бы государственного ранга, подробностями своей биографии.

Елизавета Турнас, внеся в государственный жанр некролога, торжественной эпитафии, реальную биографию, возвысила этот жанр и с горькой усмешкой низвергла.

Первая половина дневника не предполагает обращения к кому бы то ни было, но автор, чувствуя, что обретает голос, обращается к способным слышать.

И вот на наших глазах из капель дождя рождается Реквием по живым.

«Моему настроению импонирует погода, тяжелая, сырая».

Как рядом с «отсюда» уживается «импонирует»? Спросите Город.

«Капли дождя стекают по стеклу, ручейками, как неутешимые слезы. Это плачут жители нашего славного города, это слезы миллионов страдающих, обреченных на бесславное вымирание.

Люди, вы уже убитые, бродят еще только ваши изможденные тела, нет у вас стремлений, мыслей, любви к чему-нибудь, даже нет надежд. Женщины, дети, вы безжалостно уничтожены. Смерть постепенно высасывала из вас кровь, сушила мозг, не страшитесь же теперь превратиться в прах, не цепляйтесь за жизнь, она не для вас. Многие не смиряются, возмущаются, теряют рассудок, но кончается все тем же – смерть. Голод, как ты ужасен, и как могуч. Сломил сильных, разубедил убежденных, умных лишил ума, порядочных превратил в подлецов, любовь обратил в ненависть и жизнь в смерть. Но это еще не все, стенания не окончены, смерть заносит свою руку над городом, избрав новую форму уничтожения. Я еще не знаю, какой она будет, но вероятно не менее уродлива и жестока».

И тут же – прочь рупор, прочь красноречие, вон из литературы!

«Нехорошо мне, сердце тоскует, голова трещит, был бы у меня мой мальчик, я все согласилась бы пережить, даже худшее».

Оглушенная горем, живя на окраине, она многого не видит, а когда увидит, запишет без всякого удивления.

«15 апреля. Сегодня пошли трамваи, правда, только некоторые маршруты, и ползут они медленно, а днем и вовсе стоят из-за отсутствия тока. Хрипит радио то же с газетами. Воду тоже берут из водопровода. Весна необыкновенно ранняя и дружная. С больших улиц снег и лед убран, и уже сухо».

В день годовщины начала войны она еще раз удивит взглядом на саму себя:

«Правильно судить о происходящем здесь я не могу. Для меня ужасным кажется только смерть моего сына, это самое большое несчастье и горе, и с этой точки строится все мое миро-воззрение».

«Точка» оказывается не такой уж и ограничивающей кругозор, не лишает ее мужества и авторитета в батальоне.

«Из меня сделали строевого командира. Эта игра в солдатики меньше всего подходит ко мне с настоящим настроением. Но ничего не поделаешь, обстановка этого требует».

Дела наши на фронтах зело не важные. Немцы подходят к Баку, а Майкоп уже в их руках. Юг охвачен пожаром, который тушить приходится человеческой кровью».

С союзниками полная ясность.

«На союзников нет надежды. Они хотят уничтожить державы оси и ССР. Если они не поленятся, то, пожалуй, осуществят этот план. Да, Россия находится примерно в таком же положении, как и я. Сыновей своих любимых потеряла, жить стало нечем, а и умирать, ничего не сделав, не хочется».

Что же надо сделать?

«Надоела война, нет слов, но все же немца прогнать надо, другого выхода быть не может».

Был ли когда-нибудь приговор произнесен более тихим, более спокойным, более усталым и более твердым голосом?

«Прогнать», – сказала Елизавета Турнас.

«Другого выхода быть не может», – договорил Город.

Нет у меня ни полномочий, ни желания кого-то привечать или отлучать от художественной литературы, здесь уместней будет услышать Толстого, Льва Николаевича.

«Главная цель искусства, – писал он тоже в дневнике, 17 мая 1896 года, – если есть искусство и есть у него цель, то, чтобы проявить, высказать правду о душе человека, высказать такие тайны, которые нельзя высказать простым словом. От этого и искусство».

В советских музеях часто появлялись простреленные, пропитанные кровью книги, с которыми бойцы жили на фронте, защищали страну, погибали.

Петербург, простреленный и политый кровью, великое и прекрасное художественное произведение, ты вырастил, ты выносил в своем лоне таких горожан, как Елизавета Турнас, и сделал Ленинград неприступным.

*Август 2001 года*

## БЛОКАДНЫЕ ВЕСЫ

На блокадных весах не гирьки и кусочки хлеба, а жизнь и смерть.

И постановление, к примеру, Государственной инспекции по охране памятников Ленгорсовета о том, что вывозить, что укрывать, а что прятать в землю, не лист казенной бумаги. На весах – спасение или разрушение неповторимого лица Города.

И веса эти были не в руках богини с завязанными глазами, а в руках людей, все видевших и обязанных сознавать последствия любого своего решения.

Восемь тонн бензиновой смеси, то есть бензина, разбавленного соляровым маслом и еще какой-то пошедшей в дело дрянью, для автобусов, доставлявших 23 января 1942 года эвакуируемых к Финляндскому вокзалу, – это жизнь нескольких сот ленинградцев, спасенных в этот день. И это смерть тех, для кого следующего дня уже не было.

Кому отдать сотню винтовок и пулемет «Максим-ленинградский», сделанные на Сестрорецком заводе сверх плана? Кому прибавить «лишние» пятьдесят граммов хлеба – рабочим? служащим? иждивенцам? детям?

И любой ответ – это чья-то жизнь и чья-то смерть...

Служащим, иждивенцам и детям с 19 ноября по 24 декабря 1941 года устанавливалась норма выдачи хлеба – 125 граммов. С 25 декабря – 200 граммов. С 24 января 1942 года – 250 граммов. Для сотен тысяч ленинградцев в этих цифрах приговор. Но без этих 125, 200, 250 граммов хлеба в день к февралю город бы попросту вымер. Для меня, старшего брата и мамы это было спасение. Бабушку и младшего брата они спасти не смогли...

На 27 января 1942 года план поставок продовольствия в город был не выполнен. Продовольствие уже было на нашем, на западном берегу Ладоги. На станции Ладожское озеро на складе № 891 уже скопилось 1488 тонн крупы, 944 тонны мяса, 1004 тонны сахара и 14 тонн жиров. Решение Военного совета Ленинградского фронта о доставке в город 3270 тонн продовольственных грузов в сутки не выполнялось. От Ладожского озера до Финляндского вокзала в центре города – 44 километра. И спасительный для многих тысяч людей груз преодолевал это расстояние за несколько дней, иногда от четырех до шести. Если 22 января было отправлено со станции Ладожское озеро 144 вагона, то 23 января – 48, 25 января – 25, 26 января – 16. В отчаянии принимается решение перевезти 2 тысячи тонн продовольствия автотранспортом.

На одной чаше весов – недоставленные тысячи тонн продовольствия, на другой – тысячи погибших ленинградцев.

Вот такие веса...

А еще на этих весах, кроме отчетов и документов, живые свидетельства тех, кто в постановлениях и справках именовался обобщенно, их счет шел на тысячи, на сотни тысяч, но у каждого из этих тысяч был свой голос, и многие сотни голосов до нас донеслись.

### ДНЕВНИК Н. П. ГОРШКОВА. 1941 год «22 января»

Несколько дней назад распространился упорный слух, что с 21.01 после перерегистрации продовольст. карточек будет увеличена норма выдачи хлеба рабочим по 500 гр. и прочим до 350 гр. Вот прошло 21-е и 22 января, а прибавки нормы нет. Население с грустью разочаровано – ведь так хочется кушать, так много умирают от голода.

24 января.

Целый день погода ясная, безоблачная. Красноватое солнце как в тумане. Сегодня для ленинградцев, несмотря на анафемский холод, очень приятный день. Во-первых, радостные

вести с фронта, что наши войска гонят немцев в Калининской области и уже заняты ряд городов по направлению к Пскову.

Взяты большие трофеи. На нашем Ленинградском фронте дела, видимо, также не плохи, т. к. обстрела города не было и пальбы с фронта не слышно.

Во-вторых, и продовольственное положение в городе улучшается. С сегодняшнего дня увеличена норма выдачи хлеба и качество значительно улучшилось. Хлеб хороший.

Рабочим вместо 350 гр. отпуск по 400 гр.

Служащим 200 гр. по 300 гр.

Иждивенцам 200 гр. по 250 гр.

Детям 200 гр. по 250 гр.

Кроме того, всюду выдают крупу, мясо, масло сахар, правда...»

Дальше в дневнике пробел, да мы и сами знаем, что должно было следовать за словом «правда»: изголодавшихся, изможденных людей не могли спасти мизерные в сущности прибавки.

Пик смертности в блокадном Ленинграде наступит в феврале – марте.

Легко догадаться, что перед нами дневник ленинградского интеллигента. Николай Павлович Горшков, старший бухгалтер Института легкой промышленности. Родился в 1892 году в деревне Выползово Углического уезда Ярославской губернии, жил и работал в Питере. В дневнике о себе, о тяготах своей жизни – практически ничего. Так ведут записи летописцы в ощущении своей высокой миссии. Вот и о еде «во-вторых»! А «во-первых» о настроении в городе, «сегодня для ленинградцев... очень приятный день». Сколько сдержанности и достоинства. Потом о делах на фронте. Сначала о другом, о Калининском, потом уже о «нашем», Ленинградском. И только потом о прибавке хлеба, и не ему, а всем. И на вкус тоже хлеб стал значительно лучше, надо отдать должное полученному в этот день кусочку в 300 граммов весом.

Не в этой ли короткой записи ответ на вопрос: почему ленинградцы выстояли, как же сумели? Преклоняюсь перед изнуренным голодом человеком, не считающим для себя возможным писать о том, как скуден и тощ трехсотграммовый кусок блокадного хлеба, как огромна холодная пустота пространства, от одного куска до следующего... Николай Павлович Горшков пишет так, словно ему просто интересно было лишь попробовать этот потяжелевший на пятьдесят граммов кусочек, чтобы запись об улучшившемся качестве хлеба была достоверна.

Живой человек не монумент, не памятник. Ему ведомы и минуты отчаяния, и черные дни тоски. И ощущение предела своих сил, и чувство безнадежности... И отчаяние было безмерным, и тоска невыносимой. Все это останется в памяти человеческой, останется на блокадных весах, но на другой чаше были минуты самоотвержения, три года нечеловеческого труда, часы побежденного страха и затухавшая в одном, но не угасавшая в других и потому вновь возрождавшаяся в ослабевших убежденность – Город отдать нельзя. Потому и выстояли, что сумма мужества, не одного, не героев, не избранных, а мужество, жившее во всех, перевесило и слабость, и боль, и отчаяние, не миновавшие никого.

Сегодня у нас есть больше возможности, чем когда-либо, увидеть сражающийся город в реалиях его повседневной военной жизни, где было переплетено все и люди были так не похожи друг на друга.

## **ДНЕВНИК КРАСНОАРМЕЙЦА С. И. КУЗНЕЦОВА. 1942 год**

«28 декабря. Эти дни живу какой-то принужденной жизнью. Так хочется уйти из этого мира. Я болен неврастенией, но лечиться не разрешают, и посетить доктора не могу, хотя и говорят, что у нас свобода и есть права и забота о человеке. Но это не для низших слоев народа, так что нижние слои людей всегда являются рабами высших своих начальников, и добиться прав и человеческого отношения к себе, так и к товарищу, пожалуй, невозможно, потому что



без бедного не может быть богатый. А ведь это очень лестно, когда человек живет за счет труда других, да еще ими и распоряжается. Впрочем, в 1942 году пережил много трудностей, был в больнице, лишился отца. Сам лишился слуха и здоровья, а в последней половине жизнь моя наладилась, и пока живу хорошо. А что будет дальше – бог знает, а человеку не велено знать будущее».

Подчеркнуты слова в дневнике Степана Ивановича Кузнецова следователем контрразведки МГБ в ноябре 1948 года, сразу же после демобилизации красноармейца и последовавшего вскоре ареста.

Многие школы в преддверии 300-летия Санкт-Петербурга включили в свои программы «Городоведение», назвав этим «диким» словом доброе и полезное дело – изучение или по крайней мере сколько-нибудь подробное знакомство со своим городом, его судьбой. Будь моя воля, непременно включил бы в эти программы изучение блокадного дневника Николая Павловича Горшкова для постижения «феномена ленинградца», во всей особенности этой ветви, увы, усыхающей на древе русской интеллигенции.

Он записывал ежедневно – не пропустив ни одного дня! – картину блокады, открывавшуюся перед его глазами. Записывал с точностью педантичной, хочется сказать, бухгалтерской. Он записывал все обстрелы и бомбежки, обрушившиеся на город. Когда бомбежки и обстрелы длились весь день или всю ночь, делал записи в столбик, на манер расписания, обозначая начало и конец разрушения города и убийства горожан по часам и минутам. Со сдержанностью и благородством подлинного интеллигента он мог повествовать о самых страшных вещах, когда люди теряли человеческий облик, когда отчаяние и безысходность толкали их переступить последнюю черту... Не стану приводить эти трагические свидетельства, но то, что они, предъявленные честно и достойно, есть, – это бесценно. Он положил себе обязанностью оставить запись о каждом дне блокады, начиная с 4 сентября, первого разрыва немецкого снаряда в городе.

Анна Андреевна Ахматова отозвалась на эти разрывы памятными стихами «Первый дальноточный в Ленинграде»: «И в пестрой суеде людской все изменилось вдруг. Но это был не городской, да и не сельский звук...»

Николай Павлович Горшков повелел себе стать бессменным хроникером каждого прожитого дня.

В 1943 году ему показалось, что дневник закончен, перо можно отложить... Он мечтал об этом дне вместе со всеми.

## **ДНЕВНИК Н. П. ГОРШКОВА. 1943 год**

«19 января. Весь город переживает радость победы. Утром на всех зданиях города вывешены красные флаги. На остановках трамвая группы граждан с радостью обсуждают прорыв блокады родного города. У многих на глазах слезы. Знакомые встречаются и целуются. В вагонах трамвая, несмотря на тесноту, у всех добродушное настроение, не слышно обычных перебранок.

Утром мороз -13. Облачно.

Все время тихо. Пальбы не слышно.

Блокада прорвана, на этом следует закончить записи, начатые 500 дней тому назад после первого вражеского выстрела в начале блокады».

Но уже следующей ночью над городом будет опять греметь канонада, и так еще 400 дней.

Это блокада глазами одного человека. Много ли может увидеть человек скромной должности, не вынужденный передвигаться из конца в конец города? Много, очень много, если каждый выстрел по городу, каждый взрыв бомбы ранил его душу. И хотя секретность в военное

время – дело необходимое и естественное, в городе, как на фронте, жили и слухами, о главном знали почти достоверно, и о готовящемся наступлении, и о готовящейся прибавке хлеба.

### **ДНЕВНИК Н. П. ГОРШКОВА. 1942 год**

«26 января. Мороз -25. Погода ясная, солнце. Дует холодный восточный ветер. Около 13 ч. враг обстреливал город из дальнобойных орудий – около 10 выстрелов. наших орудий не слышно.

...Сегодня многие булочные совсем закрыты, т. к. хлеб не подвезен, а на заводах не выпекается из-за отсутствия воды. С ночи стоят колоссальные очереди за хлебом у тех булочных, где есть хлеб или ожидается поступление. Покойников везут непрерывно весь день.

Ледяной город.

...По посторонним сведениям, продовольственные грузы в большом количестве в данное время подвезены автотранспортом со ст. Званка Сев. ж. д., с. Ладоги и из других мест с восточной стороны к станциям ж. д., прилегающим к Ленинграду, откуда подлежат перевозке в город по ж. дороге. Но товарные местные поезда ходят очень плохо из-за недостатка топлива и воды для паровозов. Поездные бригады из-за недостатка питания работают вяло, хотя и получают усиленный паек. Дисциплина несколько ослабла. Поезд, который должен был пройти расстояние за два часа, как рассказывали, шел 19 часов. Главная причина таких явлений – морозы, в особенности такие, как нынче, при которых даже в нормальное время поезда опаздывают.

Местное топливо – дрова и торф – не дают достаточно пара в котлах паровозов.

Голодный Ленинград ждет продовольствия, которое необходимо доставить, невзирая на все препятствия, т. к. люди гибнут, умирая голодной смертью от истощения».

Каждый большой город многоголос. На воображаемых весах можно и голоса взвесить.

Вот дневник красноармейца Степана Ивановича Кузнецова, уроженца деревни Крапивня Осташковского района Калининской области. Призванный в Красную армию, он прибыл в Ленинград 14 июля 1941 года и проходил службу в различных подразделениях до демобилизации 5 ноября 1945 года.

И его дневник, так же как и дневник Н. П. Горшкова, станет «вещественным доказательством» при обвинении авторов в антисоветской агитации, клевете на советский строй, его армию и правительство. Через шесть лет после осуждения на десять лет Степан Иванович Кузнецов будет освобожден и реабилитирован. Николай Петрович Горшков умрет в лагере и будет реабилитирован «ввиду отсутствия состава преступления», но посмертно.

Записи красноармейца Степана Ивановича Кузнецова лаконичны, отрывочны и ведутся не каждый день. Весь декабрь 1941 года умещается на одной странице.

### **ДНЕВНИК КРАСНОАРМЕЙЦА С. И. КУЗНЕЦОВА**

«Декабрь. 1941 год

1-го получил письмо от жены, но оно не обрадовало, писано 1-го октября, и ко всему этому голод окончательно подрывает силы.

5-го была перегруппировка, формировали автоколонну, и я теперь работаю день и ночь, товарища взяли, помогать некому.

6-го остался без завтрака – съели командиры. Голод, и каждый рвет как собака.

13-го работал до упада, от голода пухнут ноги, не одолеть ходить.

23-го обворовали меня свои товарищи, взяли бритву, мыло, соль и даже деревянную ложку.

Получил письмо от мамы и от брата Вани, сообщает, что 15-го пошел в бой.

Все эти дни, с 9-го по 23-е, работал круглые сутки, не было никакой возможности жить. Хотел пойти на самопокушение».

Зато Новый год удалось встретить неплохо.

«Январь. 1942 год

1-го Новый год встретил в кочегарке, работал всю ночь, но спокойно. Обед получил хороший, но тоже обворовал свой товарищ: выпил пиво мое и съел 2 свеклины и унес коробку папирос... Видал во сне, что я будто с Павлом, братом, был у какой-то реки и потом пошел по большой прямой дороге, огороженной с двух сторон изгородями, и Павел прошел и потерялся.

Но 1-е прошло в волнении, но сытно. Достал хлеба 300 грамм, 40 гр. масла».

А еще был Город, была государственная воля, было самоотвержение не только бойцов фронта и местной самообороны. На каких весах измерить то, что было сделано для спасения города, его жителей и промышленности суховатым, сдержанным, немногословным питерским интеллигентом, Алексеем Николаевичем Косыгиным. Родившийся в Санкт-Петербурге, он в тридцать четыре года стал председателем Ленгорисполкома, в тридцать пять – наркомом текстильной промышленности, в тридцать шесть – заместителем председателя Совнаркома, пробыл на этом посту с 1940 по 1953 год.

Как поэма, как гимн жизни читается постановление Военного совета Ленинградского фронта, а именно ему принадлежала вся полнота власти в городе в эту пору, о нормах продовольственного снабжения на февраль 1942 года для детских учреждений, отнесенных к трем категориям – дома малютки и интернатные группы детских яслей, дошкольные детские дома и детские сады и школьные детские дома. Вот нормы для школьников: мясо – 1,5 кг, жиры – 1 кг, яйцо – 15 шт., сахар – 1,5 кг, крупа и макароны – 2,2 кг, хлеб печеный – 9 кг, а еще понемножку сухофруктов, чая, кофе, картофельной муки. Это постановление связано с очередным приездом в блокадный Ленинград А. Н. Косыгина, но подготовка и принятие подобного рода решений как бы входили в круг обязанностей уполномоченного Государственного комитета обороны по Ленинграду. Но Город выстоял, как мне кажется, только благодаря тому, что были люди, сами делавшие больше, чем требовали обязанности, и умевшие заставить исполнять свои обязанности тех, кто от этого уклонялся.

## **ПИСЬМО А. Н. КОСЫГИНА А. А. ЖДАНОВУ О СОСТОЯНИИ РЕМЕСЛЕННОГО УЧИЛИЩА № 33**

*17 февраля 1942 года*

*Секретно*

16 февраля мною лично было проверено состояние 33-го ремесленного училища.

Выявлено:

1) Все ученики ремесленного училища спят по 2–3 чел. на одной койке. Кровати без простыней и наволочек. Все ученики завшивлены, и в матрацах много вшей. В помещении грязь. Больные не отделяются от здоровых.

2) Все ученики жалуются на исключительно плохое питание. При проверке мною столовой выяснилось, что супа готовится в полтора раза больше, чем надо на то же количество продуктов. Это значит, что вместо супа выдается жидкая бурда.

3) Котлеты весят вместо 50 г – 35 грамм; отпускаемый сахар не полностью попадает ученикам, а частично уворовывается.

4) Установленные по норме жиры уже в течение 4 дней в столовую не отпускаются.

5) Контроль со стороны администрации училища над столовой отсутствует, и это создает полную возможность для неограниченного воровства продуктов из столовой.

Считаю, что в силу отсутствия должного контроля за питанием учеников ремесленных училищ создана благоприятная почва для хищения большого количества продуктов, и в результате ученики находятся на голодном пайке и не только не поправляются, а, наоборот, их состояние ухудшается.

1. В связи с этим прошу принять решение, установив обязательный контроль за питанием ремесленников со стороны администрации школ, при котором закладка продуктов в котел должна происходить с обязательным присутствием администрации училища и представителей учащихся.

2. Запретить администрации училищ содержать учеников по 2–3 чел. на одной койке и принять меры к немедленной ликвидации вшивости в ремесленных училищах путем устройства самых примитивных вошебоек.

В части работников столовой, обслуживающей ремесленное училище № 33, мною предложено городскому прокурору их арестовать и отдать под суд.

А. Косыгин Резолюция: «Тов. Двойникову. О принятых вами мерах доложить. Чересчур много у вас безобразий.  
*Жданов*».

Почему второе лицо в правительстве, заместитель председателя Совнаркома, знает, что делается на кухне и продкладке ремесленного училища в Ленинграде, а первое лицо в городе считает, что это не у него, а у тов. Двойникова «чересчур много безобразий».

Здесь и без «весов» видно, на сколько тянет письмо выпускника Ленинградского текстильного института и как барственно невесома резолюция самородного партийного деятеля из Мариуполя.

Но Ленинград не был бы Ленинградом, если бы забыл о своих детях, в бессилии опустил руки перед неизбежной в условиях войны и осады беспризорностью.

Уже в декабре 1941 года Ленгорсовет принимает решение о расширении контингента в детских домах и открытии новых детских домов.

В страшном, самом голодном, жгущем морозами и пожарами, январе 1942 года прием в детские дома был увеличен на 2725 детей, и были открыты 23 новых детских дома с общим контингентом до 5550 детей. В марте общее число детей в детских домах достигает 14 300 человек. Прием в детские дома идет безотказно и круглосуточно. На 10 марта число детских домов в городе возросло до 98. В каждом районе города с февраля 1942 года начинают действовать приемники-распределители, до конца года через них пройдет 26 250 детей. До конца года из города будут эвакуировано 38 080 детей, находившихся в детских домах. Важнейшим средством борьбы с беспризорностью стало определение детей в ремесленные училища и школы фабрично-заводского ученичества.

Детская беспризорность в блокадном городе к июлю 1943 года была ликвидирована!

Нет, это не победная реплика. Голод, война, ошибки, подчас преступные, давали богатую жатву смерти. Да и призрак порядков, обнаруженных А. Н. Косыгиным лишь в одной столовой лишь одного ремесленного училища, не дает оснований для обольщения. И все-таки ликвидировать беспризорность, как ни трудна была эта задача, оказалось все-таки легче, чем обеспечить подростков из ремесленных училищ средствами жизнеобеспечения во время зимней эвакуации, бороться с теми, чья вороватость и душевная черствость сводила на нет усилия людей самоотверженных и щедрых сердцем.

Но у детей, у подростков, казалось, потерявших в жизни все, остался Город, их Город. И вот уже летом 1943 года началось обратное движение. Дети-подростки, детдомовцы и ремесленники, стали на свой страх и риск возвращаться, тыриться, как мы тогда говорили, в Ленинград из-за Ладожского озера. Их направляли в карантин, потом ребята старше четырнадцати шли на производство или в училища, дети младшего возраста возвращались в детские дома. В

Ленинграде с беспризорностью было покончено, она вернется через пятьдесят мирных лет на чердаки и в подвалы десятками тысяч бездомных обитателей, но уже в Санкт-Петербург.

В 1939 году в Ленинграде было 3,2 миллиона жителей, стало быть, к 1941-му никак не больше трех с половиной миллионов, даже несколько меньше. 400 тысяч человек было мобилизовано в Красную армию с началом войны. 200 тысяч было собрано в 15 дивизий народного ополчения. Около миллиона только горожан было эвакуировано. В июле 1942 года по докладу председателя Комитета обороны города А. А. Жданова в городе оставалось 1 миллион 100 тысяч жителей. Прибегая к очень ненадежной в данном случае арифметике, пытаюсь с опорой на достоверные сведения приблизиться к реальной картине потерь в трагическую зиму 1941 – 1942 годов. Минимальная цифра с учетом боевых потерь народного ополчения – 650 – 700 тысяч человек, реальная же, надо думать, приближается к миллиону, о чем говорят кладбища блокадников не только в городе, но и безучетные братские могилы на маршрутах эвакуационного потока.

Потомки чтят память горожан, испивших чашу страданий и не увидевших победных огней над истерзанным и непокоренным городом.

Неизбывна и благодарность солдатам всех родов оружия, сдержавших врага на подступах к городу, на его окраинах.

Легко затеряться одной человеческой жизни во время битвы за Ленинград, самой долгой битвы Второй мировой войны, разыгравшейся на пространстве в пятьдесят тысяч квадратных километров да еще и длившейся три года с участием миллионов воинов и гражданских лиц.

И нам уже никогда не узнать, сколько же их затерялось, отдельных человеческих жизней, сколько останутся безымянными воинов и горожан, тех, кто разделил трагическую и героическую судьбу осажденного Ленинграда. Для нас будут драгоценны свидетельства каждого участника обороны, каждого труженика и мученика блокады, каждый документ, каждая подлинная страница великой летописи...

Трудно складывается эта летопись...

Казалось бы, мозаика частных судеб, запечатленных со всей возможной полнотой, могла бы составить исчерпывающую историческую хронику.

Нет, здесь арифметика, где целое равно сумме ее частей, не действует.

И это не единственный случай.

Возьмем, к примеру, такую основополагающую категорию, как дух нации. Можно сколько угодно спорить, что это за дух такой. Назовем для прояснения предмета имена людей, воплощающих с наибольшей полнотой дух нации, и будем вынуждены признать, что само понятие всегда будет оказываться шире, чем любой из его выразителей. Наверное, то же самое происходит и с таким огромным и трагическим событием, каким стала ленинградская блокада. Без частных судеб людей, обреченных блокадой, ее истории нет, и при всем при этом история блокада не сумма частных историй.

Была пора, когда радость долгожданной победы, выстраданной тяжким трудом и великими жертвами обретенной, ставшей общим достоянием, одной на всех, увела в тень частные, отдельные судьбы. Страдания, потери, боль были еще так близки, и казалось, что это лишь наши личные потери, наша личная боль и только победа – общее достояние.

А еще в памяти осталось присловье военных лет, произносившееся то лихо, то сокрушенно, то с циничным смешком: «Война спишет!»

«Списанию» подлежало все, что не служило к славе вождей, полководцев, градоначальников и начальства поменьше, также требовавших свою долю славы. Все, что не служило этой славе, объявлялось попыткой бросить тень, принизить и т. д. подвиг героического советского народа.

Наша история тех ликующих победных послевоенных лет вольно или невольно оказалась непростительно подслеповатой, и подслеповатостью этой воспользовались те, кому в пору было

бы держать ответ на вопрос, который не заглушить ни праздничными салютами, ни замаскировать лаврами победителей: почему война взяла такую страшную, огромную дань? Ответить на этот вопрос должна была власть, а не героический советский народ. Чтобы не отвечать на этот вопрос, чтобы собственную близорукость, трусость, жестокость, неумелость «списать на победу», власть выстроила многорядную оборону, были сооружены рубежи секретности, «политической целесообразности», идеологические надолбы и цензурные контрольно-пропускные пункты. В результате война, окутанная победными отчетами, как бы утратила человеческие измерения, предпочтительно рассматриваясь как историческое «столкновение двух систем», величайшее событие XX века и т. д. Не слышна стала боль человеческая и тоска от мучительных мыслей обо всем на свете, от которых не спрячешься ни в окопе, ни в блиндаже.

Вот размышления Семена Федоровича Путякова, тридцатишестилетнего бойца батальона, обслуживавшего аэродромы в ближних ленинградских пригородах, между дачными поселками Левашово и Парголово, и даже в самом городе, в парке Сосновка, неподалеку от Политехнического института. Родился Семен Федорович в деревне Слапище Пустынкинской волости Тверской губернии, 17 июля 1941 года был призван защищать Ленинград.

### **ДНЕВНИК КРАСНОАРМЕЙЦА С. Ф. ПУТЯКОВА. 1941 год**

«Часы показывают 5 часов утра 19 августа, вторник. Я проснулся в 4 часа и не мог уснуть. Во сне видел свою жену, но детей не видел. Это второй раз за время пребывания в Р.К.К.А. Первый раз видел 27 июля. С детьми. В тот раз я пришел к ним домой и целовал их всех. Проснувшись, я не хотел верить, что это был сон. Вчера вечером и сегодня утром слышны выстрелы из тяжелых орудий по направлению к Выборгу. Сквозь сон был слышен звук моторов авиации и автомашин. Сегодняшняя ночь была беспокойной. Товарищи мои, однако, спят спокойно. Сегодня во второй или третий раз слышал бормотание тетерева. В такое время года я не помню, чтобы я слушал его песню. Его, видно, мало беспокоят военные действия. По всей вероятности, он доволен, что люди убивают друг друга и не трогают его, поэтому, вероятно, он и поет. Прожужжало какое-то насекомое, звук которого похож на звук рабочей пчелки, пролетело два комара со своим противным визгом, одного я придавил.

20 августа.

Писем давно не получал, поэтому очень скучно. По сводкам видно, что нашими войсками оставлен Николаев и Кривой Рог. Очень жаль, но в это время жальче всего живых людей.

Жизнь. Что такое жизнь отдельно взятого человека? Жизнь общества, жизнь целого государства? После ответа на этот вопрос. А сейчас некогда. Сейчас 6 утра 21 августа. Вчера в обед получил письмо от своего племянника. Очень рад был я этому письму. Он мне сообщил кое-что о себе и о моей комнате. Но о самом главном – о жене с детьми ничего не знает. Спрашивал моего совета идти или нет партизанить за свою родину? Партизанить с той целью, чтобы найти своих родных. Родных не найти у себя на родине. Если их захватили фашисты, так то же самое – отправили куда-либо. Я не посоветовал ему идти. Зачем напрасно терять жизнь.

В сводках с фронта на 18 августа: оставлен нашими войсками г. Кингисепп. Плохо, но, по-моему, это временно, для заманки. Еще за 20-е никаких новостей и выдающихся событий не было.

21 августа началось как обыкновенно.

Достроили землянку. Я набрал грибов и собираюсь жарить после бани. Сегодня будем мыться в бане, второй раз в этом месяце.

Время есть отвечать на вопрос о жизни. Я начну с самого себя. Если описывать свою жизнь с самого начала, это получится очень большой рассказ. Время нет на это. Да и зачем писать автобиографию; я хочу решить вопрос о цели и смысле жизни. Есть такое правильное определение: «Жизнь – борьба», точнее жизнь и «есть борьба за существование и продолжение

своего рода». С этим я согласен. Но это верно в отношении ко всему живому на Земном шаре. К растительному миру, к животному, в том числе и к человеку. Но неужели моя жизнь равна этой травинке, которых я много нарвал себе на подстилку? Неужели разница только в том, что мой организм гораздо сложнее растений и животных, а смысл и цель одинаковы?

Не хочется этому верить, однако это так. Думай и мысли сколько угодно, но ничего иного не придумаешь. Иной цели и смысла нет.

Обидно только за то, что все низшие организмы поедаются и уничтожаются высшими, редко себе подобными; а человек уничтожает человека.

Обидно за то, что чем культурнее становится общество, государство, тем сильнее становится насилие над личностью. Человек должен делать то, чего он совершенно не хочет. Его заставляют такие же, как он, люди».

Слова в последнем также подчеркнуты следователем, приобщившим четыре небольших исписанных блокнота как вещественное доказательство того, что арестованный 24 января 1942 года красноармеец Путяков «...будучи враждебно настроенным элементом к правительству и ВКП (б) ...выражал недовольство политикой Советского правительства и в области снабжения питанием Красной Армии...» Военным трибуналом 6 РАБ 4 марта 1942 года С. Ф. Путяков был приговорен к ВМН – расстрелу. 11 марта 1942 года приговор был приведен в исполнение.

Вставал Семен Федорович по-крестьянски рано и делал записи в блокнотике.

### **ДНЕВНИК КРАСНОАРМЕЙЦА С. Ф. ПУТЯКОВА. 1941 год**

«23 августа. 8 часов утра.

Впервые за месяц службы стреляли. Ст. лейтенант бросил гранату в озеро. Погода облачная, дует легкий западный ветерок. Сидим у озера, и невольно вспоминаются привалы на охоте. Хорошо бы теперь побродить с «Тулкой» по родным местам, но, увы, там бродят фашисты. Там, вероятно, погибла жена с детьми или, может, мучаются в живых.

Война – таков ее закон.

Прошедшая жизнь моя не была очень красивой, я много испытал в молодости. Много перенес в отношении меня несправедливостей. Но все-таки это была жизнь. Теперь я превращен сам не знаю во что. Одно только меня утешает, что я являюсь маленькой молекулой великого организма Р.К.К.А., Армии, которая будет играть победу. Смерть моя будет воспета будущим поколением.

Пусть будет, что будет».

Не со следователем бы говорить Семену Федоровичу о жизни и войне, а с Толстым, Львом Николаевичем, они бы поняли друг друга... Вот и Алексей Толстой ближе и нужней красноармейцу Путякову, чем Сталин и Молотов.

«13 ноября. 3 часа 23 мин.

Прочел сейчас статью в газете «На страже Родины» – Толстого Алексея, «Родина» и счел своим долгом сделать запись. Статья очень хорошая. Художественная, умная – очень нужная нашему народу, в том числе и мне. Она окрылила меня. Она возбудила во мне дух нашего народа – мой собственный дух. Дух русского богатыря. Ничего – мы сдюжим, – заканчивается она словами наших предков и я уверен, что действительно мы сдюжим.

Эта статья во много раз превосходит речь Сталина, Молотова. Алексей Толстой – достойный потомок Великого Льва Толстого. К стыду моему, я не очень знаю его биографию. Постараюсь узнать...»

Но убьют красноармейца С. Ф. Путякова не за рассуждения о жизни и смерти. С крестьянским простодушием он заносил в блокнотик то, что должно бы послужить обвинением другим.

«26 августа, 9 час. 30 мин. утра.

Вчера получил письмо от Ани. Был очень рад этому письму. Сразу же дал ответ. Из письма видно, что два прежних письма цензура не пропустила.

Очень обидно, что мне не хотят вручать письма, боясь, что мое моральное состояние будет понижено. Глупцы. Я гораздо лучше был бы настроен, если бы получил.

...Сегодня ночь была очень горячая. Грохот орудий был слышен кругом. Мы спали спокойно в землянке. Очень плохо, что мы не вооружены. Сводки за 24 августа говорят о жестоких боях.

...Ходили на работу, погрузили бороны, а потом их разгрузили, тем и окончилась наша работа. Никакого порядка в отгрузке не видно. Только некоторые чины тщательно упаковали своих «жен» и отправили. Некоторые же, весьма ценные, грузы так до сих пор и ждут отгрузки. Все это ерунда. Не могу я как-то относиться безразлично ко всему этому. Однако сделать ничего не могу. Я рядовой. Поговаривают, что враг недалеко. Взрывы слышны недалекие, но среди нас ничего особенного не чувствуется... На вооружении у нас одни вещевые мешки. Жаль будет, если нас настигнут невооруженными.

5 сентября. Утро, 5 час. 45 мин.

Усиленно поет тетерев. Погода пасмурная, но дождя нет.

Стою у тракторов. Они стоят теперь в кустах на лугу. Хороший луг, только не расчищен от кустов. Тетерев все поет. Беззаботная птица. Превратиться бы в тетерева, но не найти такого колдуна, который превращал бы людей в птиц и зверей. Тетеревом легко бы дожил до конца этой войны, а бойцом – не знаю. Однако я пока верю, что останусь живым. Правда, сейчас наступает тяжелый момент всем окруженным в Ленинграде. Но меня такое состояние почему-то очень радует. Я полагаю, что скоро настанет момент торжества, и горько поплатится враг за свои затеи».

Следователь подчеркнул лишь то, что пойдет на чашу весов «полевого правосудия». Святая вера бойца в то, «что скоро настанет момент торжества», вроде бы меняет «дело», но лучше об этом трибуналу не сообщать. А вот о слухах, распространяемых среди солдат, доложить надо.

«28 сентября. 9 час. утра.

Среди бойцов ходят усиленные разговоры, что Тимошенко – изменник Родины. Такие же разговоры ходят и среди гражданского населения. Я охотно верю этим слухам. Иначе не могло бы быть такого положения в армии и на фронтах, как сейчас. Сильна значит пятая колонна Гитлера. Силен шпионаж фашизма...

Однако, несмотря на это, я уверен, что им не бывать победителями. Среди русской армии всегда было много шпионажа, измен и прочего, однако она редко была бита окончательно. Конечная победа была за нашей армией. Я уверен, что и на этот раз наша армия победит. Если устарели старые верные сыны нашей Родины, так эта война родит новых».

Молиться бы на таких солдат, корми да оружие дай, сами вам победу на штыке принесут, памятники им ставить, а не ставить к стенке за то, что чистая душа нараспашку.

«24 сентября. 11 час. 50 мин.

Вчера стояла хорошая погода. В такую погоду я согласился бы умереть на охоте. Такой удивительный осенний день, с ружьем в лесу, дает больше наслаждения, чем любая женщина.

К женщинам я что-то совсем остыл. Я не пользовался их ласками больше четырех месяцев и как-то не тянет. У меня две страсти: охота и женщины. Эти страсти погашены глупой войной. Ходят слухи, что нас выручают из окружения. Будем ждать. В отношении сегодняшнего дня пока записывать нечего. Буду ждать завтрашний день, он должен быть радостным.

6 ноября. 16 час. 30 мин.

Я уже на новом месте. Дежурю на новом месте близ ст. Кузьмолово, а название деревни не уточнил...



22 час. 35 мин. Сажу на дежурстве, а другие отдыхают. Слушал в 7 час. 30 мин. Сталина по радио. Он выступал на торжественном заседании. Ничего нового я во всей этой речи не узнал, да и вообще, это был весьма простой разбор состоявшихся событий.

Больше всего меня поразило то, вернее, не поразило, а окончательно убедило в предательстве Тимошенко.

Тимошенко не был включен в список почетного президиума. Значит, верны были слухи два месяца тому назад, которым я охотно верил.

Страдалец наш народ. Страдает из-за своей доверчивости, излишней уверенности в некоторых проходимцев. Что было бы, если бы наш народ не предали бы? Зачем, спрашивается, терпеть этих «вшей» и «блох» на своем теле? Это, пожалуй, не вши и блохи, пожалуй, это «бациллы». Когда научатся наши люди уничтожать эти болячки в своем зародыше?

Разве мало эти гадюки причинили несчастья нашему народу? Шляпа, а не руководители! Такие вещи может переносить только наш народ. Он перенесет и выйдет победителем, к стыду и позору всех этих извергов.

... Буду надеяться на лучшее будущее.

29 ноября. 3 часа 23 мин. (на дежурстве).

Сегодня слушал передачу для нас. Передавали текст речи Сталина на параде 7 ноября. Речи, к чему они. Нужны срочные действия. Решительные и умелые действия сейчас могут решить судьбу нашего народа. Речь, вяло призывающая к действию, мало дает. Нет, народ наш давно действует и действует так, как следует, но не так действуют руководители.

... Вообще, я со своей стороны могу сказать и сказал бы Сталину его словами, он как-то говорил: «Нет плохих предприятий и организаций – есть плохие руководители». Точно так же нет плохих государств и народов, есть плохие руководители. Наш народ – это гордость против всех народов.

Германия почему-то сумела в одинаковые с нами сроки соорудить военную машину. Конечно, не бывать ей победительницей, но при умной политике, она не могла бы сделать того, что сделала».

Вот как готов разговаривать с «полководцем четырех победоносных войн» русский солдат, не выдуманный любезными сценаристами «Саша-с-Уралмаша», а пока еще живой.

Солдат, не переоценивавший врага внешнего, не робевший перед ним, но явно недооценивший врага внутреннего, имевшего в этой войне свой интерес.

«14 января. 7 час. 30 мин. Караул.

Вот и старый Новый год. Погода морозная. Старики говорили, как святки хороши, то весь год будет хорошим. Хорошо, если так. Удивительно тихо. Звезды так и светят.

... Я должен жить. Я должен жить и бороться. Моя жизнь нужна Родине. ... Неужели после войны не поймут все остальные, что мы непобедимы. Надо признаться, что наша внутренняя обстановка еще сыграла некоторую роль на пользу врага, а если бы не это и не измены, не видать бы им ничего на нашей святой Родине.

Пусть знают наши потомки и потомки врагов, что Русь свята и нерушима.

Будет много толков, что под руководством гениев и проч. и проч. Я лично не сторонник этого. В этой войне не видно еще было ни одного гения. Все и вся должно принадлежать народу. Народ наш силен, умен и упорен. Нас дешево не возьмешь...»

И что трудяга-следователь подчеркивал и подчеркивал, даже про старый Новый год подчеркнул. Тоже крамола? Да только последних двух подчеркнутых фраз довольно для применения 58\_10, ч. 2 УК РСФСР. Хотел свидетель и себя, может быть, и своих начальников утешить, дескать, убивают русского мужика по делу.

Рассуждения Семена Федоровича Путякова и сегодня не пришлись бы по душе «руководителям». Одно благо, что его просто никто бы слушать не стал, как не слышит никто и

нынешних Путяковых, потому и умирают они уже своей смертью, правда, ускоренной бедностью и бесправием.

Я перелистываю страницы блокадных дневников, долгими и непростыми путями шедших к нам, ставших доступными для чтения. Тяжкий груз этих страниц делает трагическую чашу весов все тяжелее и тяжелее.

А что же на другой чаше?

Считалось, что на другой чаше весов официальная пропаганда, представляющая блокаду Ленинграда как дружный подвиг чуть ли не заранее изготовившихся к беспримерному самопожертвованию горожан. Да, официальная история блокады Ленинграда, казалось, была рассчитана на подростковое сознание, которое нельзя подвергать слишком серьезным испытаниям от встречи с невыдуманной реальностью, с невыдуманной историей. И вот в противовес, в опровержение казенной истории, прорвав цензурные дамбы, к нам хлынули подлинные, не отредактированные и не приведенные в согласие с интересами власти, официальными версиями и установками свидетельства частных лиц.

Честные летописи и дневники извлекаются из семейных архивов, из архивов НКВД, где служили свидетельством обвинения их авторов в мыслях и настроениях, по законам военного времени почитавшихся преступными.

Сегодня, когда мы наконец имеем возможность пользоваться не интерпретацией и изложением документов, а самими документами, когда к фактической хронике блокады мы имеем возможность приблизиться так, как не могли историки предыдущих времен, на обе чаши блокадных весов, на чашу по имени Подвиг и на чашу по имени Страдание, мы можем помещать только правду, свидетельствующую о реалиях беспримерной осады великого города.

Сегодня без оглядки на стражу, выставленную у исторической правды, можно наконец услышать многоголосие блокады, и над голосами безвинных мучеников и граждан, явивших несгибаемое мужество, будет звучать голос Города, ведущего бой и готовящегося к новым боям.

### **ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ВОЕННОГО ОТДЕЛА ГК ВКП (б) А. А. ЖДАНОВУ О РАБОТЕ ОТДЕЛА с 15 декабря 1941 года по 13 марта 1942 года**

*14 марта 1942 года*

Длительная блокада Ленинграда потребовала максимального и строгого выявления всех ресурсов военнообязанных города и передачи их фронту...

...При переучете выявлено подлежащих мобилизации и отправлению в Красную Армию 8115 человек.

Снято с военного учета, как неправильно числящихся, 27 220 человек (по причинам: находятся в Красной Армии 8722 чел., эвакуировались из города 10 556 чел., умерших – 7892 чел.).

Ресурсы военнообязанных города после переучета характеризуются следующими данными: всего военнообязанных в городе – 146 234 чел.

...Вместе с выявлением и направлением на фронт ресурсов военнообязанных, несмотря на трудности, связанные с блокадой, в городе не прекращалась подготовка резервов Красной Армии. Всеобщим обязательным военным обучением было охвачено 25 615 чел. (кроме этого, 6000 чел. проходило обучение в рабочих отрядах). Из этого числа досрочно отправлены в Красную Армию – 9791 чел.

Окончило всеобуч в январе и феврале 1942 года свыше 7000 человек. Не могли продолжать обучение в связи с истощением 6363 чел. и умерли 789 чел.

...С 10 марта с. г. приступлено к обучению второй очереди всевобуча. Охвачено 4098 человек. К 20 марта число обучающихся будет доведено до 7 тыс. человек.

Наряду с этим в школе младшего начсостава идет подготовка 200 чел. младших командиров всевобуча.

Учитывая, что большинство предприятий города не работает, Военным советом фронта принято решение – военное обучение проводить с отрывом от производства. Установлен распорядок дня: 4 часа боевая подготовка и 4 часа выполнение общественно полезных работ под командой командиров, по планам райисполкомов Советов депутатов трудящихся (уборка улиц, дворов, исправление паро- и водопроводных и канализационных систем и пр.). Для обучающихся и командиров организовано котловое довольствие и казарменное размещение...

*Заведующий военным отделом  
Ленинградского горкома ВКП (б) Павлов».*

Военный отдел занимался и формированием женских подразделений, и подготовкой снайперов и радисток, и мобилизацией «молодых возрастов» в МПВО; и, может быть, одним из важнейших направлений деятельности была помощь госпиталям. Отсутствие топлива, воды, электроэнергии и скудость питания создали в госпиталях тяжелейшие условия. К госпиталям военный отдел прикрепил 351 предприятие для оказания постоянной помощи в уборке помещений, стирке белья, снабжении водой и топливом. Реальной помощью стало изготовление тысяч печек-временок. Горожане по собственной инициативе собрали тысячи одеял, простыней, матрацев, подушек, теплых вещей, передали в госпитали 125 тысяч предметов различной посуды. Для работы в госпиталях были мобилизованы 2292 дружинницы общества Красного Креста.

Город из последних сил удерживал на весах жизни тех, кому был обязан своей жизнью.

Нельзя не слышать звучащих когда-то приглушенно, а теперь чуть не с митинговой надричностью рассуждения о том, надо ли было защищать Ленинград, стоит ли город тех неизмеримых жертв, коими оплачено его спасение.

Наша семья участвовала в защите города, наша семья несла потери и в небе на подступах к Ленинграду, и в самом городе.

Дома, где блокаду вспоминали на моей памяти не только по красным датам, никогда не обсуждался вопрос, надо ли было защищать город.

И я не могу, мне никто не позволит, отказать и своим близким, и тем, кто думал и чувствовал так же, как они, в праве защищать свой дом.

Мне ли, одному из сотен тысяч спасенных ленинградских детей, включаться в дискуссию, надо ли было нас спасти или вручить нашу судьбу и судьбу города в руки фашистского командования.

11 сентября 1941 года в газете «Правда» была опубликована статья «Бесполезное сопротивление». Вот ее текст:

«Военная обстановка под Петербургом свидетельствует о полной бесполезности для красных дальнейшего сопротивления. Но бездарное и безграмотное командование не желает считаться со сложившейся обстановкой и, увеличивая никому не нужное кровопролитие, мобилизует фабричных рабочих с их женами и детьми, отправляя одних на передовые линии и баррикады, а других – на оборонные работы под огнем противника.

Горами трупов рабочих и реками крови красные властители хотят задержать наступление немцев и тем продлить часы своего кровавого господства. Толкая впереди себя, под угрозой нагана, беззащитных женщин и их мужей, озверелые чекисты заставляют их непрерывно гибнуть во славу Интернационала, за чуждое русскому народу дело Маркса – Энгельса, Ленина – Сталина.

Но история шагает неумолимо вперед. Ни насилие, ни террор, ни горы трупов не задержат ни на секунду ее мерной и грозной поступи.

Скованный серо-стальным кольцом германских войск, советский Ленинград падет и, сбросив с себя последние оковы 24-летнего коммунистического тиранства, возродится вновь для светлой, счастливой и мирной жизни под своим славным историческим именем Санкт-Петербург».

Эту «Правду» издавало ведомство Геббельса для распространения как на оккупированной территории, так и на территориях, к оккупации запланированных. Такого же размера, тем же шрифтом набранный заголовок, полное сходство с газетой, издававшейся в Москве, вот только вместо слов Маркса, на том же месте, слова пожелавшего остаться неизвестным сотрудника Геббельса: «Труженики всех стран, соединяйтесь для борьбы с большевизмом». В своем «Дневнике» идеолог и пропагандист фашизма был более откровенен в выражении своей заботы о «светлой, счастливой и мирной жизни под славным историческим именем». «Нам не нужен этот народ, нам нужна эта территория», – коротко и ясно. В геббельсовской «Правде» таким откровенностям места не нашлось...

Уже на Нюрнбергском процессе над главными фашистскими преступниками были предъявлены документы, из которых было ясно, какую судьбу уготовили немецко-фашистские захватчики городу и его населению. Директива Гитлера от 29 сентября 1941 года, после провала штурма на приморском направлении, была фактически приговором жителям Ленинграда и послужила руководством для указаний войскам.

Вот выдержка из секретной директивы Верховного командования немецких вооруженных сил от 7 октября 1941 года № 44 1675/41: «Верховному главнокомандующему армией (операт. отдел).

Фюрер снова решил, что капитуляция Ленинграда, а позже – Москвы не должна быть принята даже в том случае, если она была бы предложена противником.

... Следует ожидать больших опасностей от эпидемий. Поэтому ни один немецкий солдат не должен вступать в эти города. Кто покинет город против наших линий, должен быть отогнан огнем назад».

Под документом подпись начальника оперативного отдела главного командования германских вооруженных сил Альфреда Йодля. Этому распорядителю человеческими судьбами предстоит поставить свою подпись под Актом безоговорочной капитуляции 8 мая 1945 года, а 16 октября 1946 года по приговору Международного трибунала он будет повешен в числе главных военных преступников Третьего рейха.

Директива от 7 октября 1941 года возвращает нас к давно дискутируемому вопросу, а «хотел» ли Гитлер брать Ленинград. Но до того, как в директивах появятся слова «ни один немецкий солдат не должен вступать в этот город», «взять измором», «тесно блокировать», надо напомнить, что прежде всего этого не захотели и не позволили защитники города, несмотря на непростительные недостатки в организации обороны, снабжении армии и бойцов народного ополчения оружием и боеприпасами, – не позволили!

Музей обороны города хранит отпечатанные пригласительные билеты на банкет в гостиницу «Астория», где фашисты в сентябре 1941 года собирались отметить взятие города. На карте у попавшего в плен 27 сентября 1941 года немецкого офицера нанесены городские объекты и даты овладения ими. На полях примечательная запись, на память: «Каждый третий в Петрограде – большевик – вздернуть». Этот должен был вешать на Московском проспекте, именовавшемся в ту пору Международным, это был его участок.

По постановлению Комитета обороны города в народное ополчение записывали «добровольцев из числа передовых рабочих, служащих и студентов в возрасте от 18 до 50 лет». Но уже 9 июля в штаб Ленинградской армии народного ополчения пришло политдонесение, рисующее горестную ситуацию с вооружением добровольцев. В 1-й дивизии нехватка винтовок

1000 штук, а то, что вручали ополченцам, доставалось из ящиков, помеченных надписью «3-я категория». Но, кроме «3-й категории», выдавались и мало пригодные для боя «драгунки», винтовки выпуска 1917 – 1924 годов, «Американ». При потребности в 1633 наганах получено было 600. Автоматов вместо положенных 1100 – ни одного. Ручных пулеметов Дегтярева вместо 375 только 160. Зенитных пулеметов полагалось 18 – ни одного, так же как и тяжелых пулеметов на универсальном станке, для стрельбы по воздушным и наземным целям. Минометов 82-мм вместо 54 – восемь, два без прицелов. Перечень отсутствия и других средств ведения боя можно продолжить.

Когда враг подойдет к стенам города, вступит на окраины, по предприятиям будут организованы еще и батальоны народного ополчения, фактически отряды самообороны. Вот пункт из постановления об организации этих батальонов:

«4. Вооружить батальоны народного ополчения винтовками, охотничьими ружьями, пулеметами, ППД, гранатами, бутылками с горючей смесью, а также холодным оружием: саблями, кинжалами, пиками и др.».

Читая про «сабли, кинжалы, пики и др.», сердце кровью обливается.

А каково при таком вооружении читать наставление: «чинить всяческие препятствия движению танков, танкеток, мотоциклистов противника». Уничтожать, понятное дело, нечем, а как без противотанковых средств и пулеметов «чинить препятствия», составители документа сами не додумались.

В этом же постановлении разрешалось вооружать батальоны народного ополчения оружием, выпущенным на предприятии сверх плана.

Но вот другой документ: «Справка об отправке из Ленинграда вооружения и снарядов в Москву и на другие фронты за октябрь – ноябрь и 14 дней декабря 1941 года».

Из Ленинграда, а не в Ленинград!

За указанное время из Ленинграда отправлено: пистолетовпулеметов Дегтярева (ППД) – 260, минометов 50-мм – 1240, 82-мм – 335, 120-мм – 279, 76-мм полковых пушек – 452, снарядов к ним – 29 382. Одновременно в справке указывалось, что, кроме уже вывезенного, подготовлено к отправке самолетами 76-мм полковых пушек – 42, 120-мм минометов – 27, а также готовы к отправке автотранспортом 20 618 снарядов 76-мм.

В осажденном городе, готовом защищаться «саблями, кинжалами, пиками и др.», изготовлено и отправлено на защиту Москвы 2375 артиллерийско-минометных систем!

Две тысячи триста семьдесят пять!

Так в окопе делятся последними патронами, последними гранатами при виде наступающего врага... Значит, Москве в эти дни было хуже.

Теперь, когда будет продолжен бесконечный разговор о ревности и соперничестве двух столиц, положим на чашу весов эти две тысячи триста семьдесят пять орудий и минометов и склоним голову перед боевым братством двух великих городов России.

Подвиг Ленинграда не только в беспримерной обороне, это не только подвиг самосохранения, хотя и одного этого достало для бессмертия.

Этот город был построен для России и служил России даже на грани собственной жизни и смерти.

Город воевал, и вклад его на чашу победы, чашу, в конце концов раздавившую фашизм, – это военная продукция, это инженерно-техническая мысль, это возвращенные в строй раненые. Это еще и музыка, стихи и книги, пробуждавшие мужество, помогавшие каждому ленинградцу почувствовать себя частицей народа, ведущего войну за правое дело. Здесь издавались книги, позволявшие нам, молодой поросли, лишь начинающей сознавать себя, почувствовать Родину своим большим домом, прикоснуться к нашей культуре. Я научился читать по самой любимой в детстве книжке «Сказки. Песни. Загадки» Самуила Яковлевича Маршака, вышедшей в Ленинграде в 1944 году.

И если в ноябре 1941 года возникало отставание с выпуском минометов, нужно было немедленно выяснить, почему Ижорский завод, стоявший буквально на линии фронта, прекратил выпуск проката труб для минометных стволов. Оказывается, прокатный стан перевезен на завод «Центролит», и уже с первых чисел ноября прокатывает трубы для реактивных снарядов гвардейских минометов («катюш»), так как заводы, выпускавшие эти снаряды, встали. А еще московский завод № 69 задерживает поставку прицелов для минометов, а еще лишь шесть часов в сутки подается электроэнергия, а еще остро недостает мазута, а еще... И каждое из препятствий кажется неодолимым, но прицелы поручено изготовить заводу штурманских приборов, литье заготовок для минометных труб распределено между Ижорским заводом и заводом «Большевик» и т. д. Ноябрьский план выпуска минометов ценой невероятных усилий был выполнен.

Нехватка бензина готова остановить жизнь в городе. Из бензина изготавливается смесь с добавлением солярового масла и спиртов, каждая тонна горючего распределяется по указанию высшего руководства в Смольном. В неделю (!) в начале января 1942 года город мог израсходовать лишь 100 тонн бензиновой смеси, и это на 2424 исправных автомобилей, и грузовых, и легковых, пожарных, санитарных, милицейских, развозящих продовольствие. Еще 2125 автомашин стояли на консервации, из-за отсутствия шоферов и горючего, или требовали ремонта.

Для ремонта танков Военный совет Ленинградского фронта в феврале 1942 года, кроме 9 баллонов кислорода и 15 тонн горюче-смазочных материалов и 25 литров спирта денатурированного, предписал выдавать рабочим завода № 371 ежедневно 250 фронтowych пайков передовой линии. Для строящихся и ремонтируемых танков двигатели доставлялись с Большой земли самолетами.

126 ленинградских предприятий различных наркоматов, городского хозяйства и промышленной кооперации произвели снарядов, мин и гранат во втором полугодии 1941 года в 10 (!) раз больше, чем в первом полугодии, в условиях мирного времени, а Ленинград уже и тогда работал на оборону.

27 марта Военный совет Ленинградского фронта постановил организовать производство вооружения на восточном берегу Ладоги, на базе Сясьского целлюлозно-бумажного комбината и Волховского алюминиевого комбината, с планом выпуска 1200 автоматов ППД, 1000 минометов калибром 50 мм и 300 минометов 82-мм ежемесячно. Для этого в пятидневный срок был организован вывоз оборудования и рабочей силы из Ленинграда на места, ставшие филиалами ленинградских оборонных заводов имени Энгельса и имени Марти.

Штаб тыла Ленинградского фронта в марте 1942 года предложил проложить бензопровод по дну Ладожского озера с восточного берега на западный. В Москву ушли все расчеты и проектная документация. 25 апреля вышло постановление Государственного комитета обороны – проложить к 20 июня с. г. сварной подводный 4-дюймовый трубопровод с пропускной способностью 300 – 350 тонн горючего в сутки. (Это немного, но вспомним январские 100 тонн в неделю.) На баржах и понтонах сварные двухсотметровые «нитки» выводились в озеро, там скреплялись в плети по два километра длиной и затапливались. На мысе Кореджи на восточном берегу и в Борисовой Гриве на западном были оборудованы приемноперекачивающие станции. Подводная часть бензопровода – 30 километров – была проверена водолазами, укрепленна на дне и 14 июня испытана под давлением сначала прокачкой воды, затем керосина. 18 июня 1942 года Город получил бензин с Большой земли.

Летом 1942 года также по дну Ладожского озера был проложен электрокабель, и в сентябре Ленинград стал получать электроэнергию первой гидростанции, построенной по плану ГОЭЛРО, Волховской ГЭС, продолжавшей работать во фронтовой зоне.

И в тяжких обстоятельствах Ленинград оставался важнейшим звеном в оборонной промышленности, и руководство страны просило (!) сохранить производство военной продукции, нигде больше не выпускавшейся.

Нарком Военно-Морского Флота адмирал Кузнецов и министр вооружения Устинов в октябре 1942 года обратились к руководству города с просьбой не допустить остановку цеха № 48 завода «Большевик», планировавшегося к консервации. На территории завода «Баррикада» в Сталинграде шли бои, кроме ленинградского «Большевика» некому было выпускать стволы крупнокалиберных морских орудий. Для сохранения уникального производства завод попросил дополнительно 400 тонн угля. Тяжелые морские артсистемы из блокированного Ленинграда поступали и на Балтийский, и на Черноморский, и на Северный флоты.

В апреле 1942 года ленинградскими заводами было выпущено 649 автоматов ППД и пять пулеметов «Максим-ленинградец», отремонтировано 46 артиллерийских систем, но уже в мае автоматов было выпущено 2857, пулеметов «Максим-ленинградец» – 150, отремонтировано пушек 61, перевыполнен план по выпуску реактивных снарядов М-8 и М-13.

Это уже не охотничьи ружья, не «сабли, кинжалы, пики и др.» сентября 41-го года.

Автоматов ППД за 1942 год в Ленинграде будет выпущено 34 936 штук, а станковых пулеметов «Максим» – 2692.

...И снова горький безответный вопрос: но почему же так поздно!?

На заводах максимально упрощался процесс производства, в том числе и для того, чтобы им могли овладеть женщины и подростки.

Знаменательна история постройки на западном, ленинградском, берегу Ладоги флотилии барж и барж-паромов. Она рассказана Валентином Михайловичем Ковальчиком, одним из историков блокады.

Главный конструктор Балтийского завода С. А. Базилевский опасался того, что упрощенные, прямоугольные, плоскостные обводы барж вызовут значительное повышение сопротивления при движении и понижение остойчивости. Но обессиленные люди не могли делать плавные обводы, для выполнения которых требовалась просто большая физическая сила. Подгонка на плите нагретых листов обшивки и деталей набора корпуса производилась с помощью... кувалды. Людей, способных выполнить эту работу, на организованной на Ладоге верфи не было. До 23 июля 1942 года было построено 11 барж по 51 метру длиной и 9 метров шириной, способных принимать от 600 до 800 тонн груза. Кроме этого, были изготовлены три баржи-парома, принимавшие прямо на борт железнодорожные вагоны и платформы с полным грузом и паровозы.

В конце июля 1941 года Комитетом обороны города была создана специальная техническая комиссия, призванная мобилизовать научно-техническую мысль города на нужды обороны.

Председателем комиссии был назначен академик Н. Н. Семенов, в состав комиссии вошли академик А. Ф. Иоффе, академик Б. Г. Галеркин, профессор М. А. Шателен, профессор Ю. Б. Харитон, зам. директора ГИПХа М. Е. Позин, директор ЦКТИ Н. Г. Никитин.

За время с 5 августа 1941 года по 1 января 1942 года в комиссию поступило 945 предложений и непосредственно в военные организации – 922. Для реализации было отобрано 420. Условия, в которых велась работа военными изобретателями, были исключительно сложными: обстрелы, бомбежки, недостаток топлива, эвакуация специалистов, инженеров-конструкторов и квалифицированных мастеров, нехватка топлива, электроэнергии, поэтому множество ценных предложений были отправлены для реализации в тыл страны.

Техническая комиссия по оборонным изобретениям наблюдала и направляла деятельность сотен ученых и инженеров, оказывала практическую помощь, согласовывала тематику, помогала избежать дублирования работ, регулировала непростые взаимоотношения институтов и заводов, помогала соединять усилия, нацеливала на практический результат.

В 1942 году в Ленинграде тридцатилетним инженером-изобретателем Александром Ивановичем Судаевым был сконструирован новый образец автомата. Пистолет-пулемет Судаева простотой и надежностью системы, малой металлоемкостью, даже своим аскетическим видом

говорил о месте и условиях своего создания, воистину автомат-блокадник. Конструктор был удостоен Сталинской премии первой степени. Уже в 1942 году было освоено производство нового оружия и выпущено 620 автоматов, в 1943 году их будет выпущено 120 тысяч штук из материалов, изысканных и произведенных в Ленинграде.

На фотографии, сделанной в мае на куполе Рейхстага, салютуют водруженному флагу Победы из ленинградского автомата конструкции Судаева! Как говорится, без комментариев.

Первые образцы автоматической зенитной пушки большого калибра, 137-мм, были разработаны и выпущены в Ленинграде в 1943 году, по традиции подарок к 26-й годовщине Октябрьской революции.

Впервые в стране именно в Ленинграде было освоено производство беспламенных порохов для дивизионных 76-мм орудий. И снова задаешь себе вопрос: на каких весах измерить самоотверженную работу научной и технической мысли в самых невероятных условиях, как оценить реальный вклад ленинградской научно-технической интеллигенции, изобретателей в дело победы?

Удивляет и широта поиска средств борьбы с врагом. Их рождала живая творческая мысль не по заданию, не по программе. Надежное зажигание бутылочной жидкости предложил не Институт прикладной химии (ГИПХ), а Институт молочной промышленности. Карманный бинокль предложил не Оптический институт, а профессор Педиатрического медицинского института. Смотровое зеркальце к танку предложил не Военно-механический институт, а доцент Политехнического института. Заменитель стекла предложил не Инженерно-строительный институт, а Физико-агрономический.

Промышленность Ленинграда в результате блокады была изолирована и работала в отрыве от промышленности страны, в отрыве от оперативного руководства наркоматов, используя лишь внутренние средства и материальные ресурсы города. Несмотря на эвакуацию большого количества предприятий и оборудования, город потенциально оставался крупнейшим промышленным центром, располагающим возможностью наращивать свои производственные мощности, включаясь в государственную программу, в общий план народного хозяйства. В июле 1943 года с предложением полностью прекратить эвакуацию из города оборудования и материалов и включить ленинградскую промышленность в народнохозяйственный план страны руководство города обратится в Совнарком и Государственный комитет обороны. То самое руководство, которое после войны будет подвергнуто жестоким репрессиям с обвинением в сепаратизме и стремлении противопоставить Ленинград стране!

Понятно. Ленинград – город особо уязвимый, и защищать его поэтому было особенно трудно.

Чтобы уничтожить Государственную публичную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина, обозначенную на авиакартах захватчиков как объект особой важности, на библиотеку непосредственно было сброшено 250 зажигательных бомб. Это свидетельство сотрудника Публичной библиотеки, участника обороны Ленинграда Даниила Натановича Аля.

На одной чаше весов 250 бандитских покушений поджигателей, на другой чаше – 23 миллиона книг и уникальных рукописей. На крышах и чердаках женщины, сотрудницы библиотеки, и их дети, подростки, оставшиеся в Ленинграде. Они и склонили весы в нашу пользу. Ни одного пожара! Ни одного. А книги гибнут не только от огня, но и от воды, которой этот огонь тушат. Гостиный двор рядом, на другой стороне улицы 3 Июля, которой, как и всем центральным проспектам, площадям и набережным, в день снятия блокады вернут привычное старожилам имя Садовая. Гостиный двор будет гореть долго, чуть не половину января, и сгорит. Здесь они победили, а «Публичку» отстояли, здесь наша взяла.

Отстояли и Кунсткамеру, правда, не в схватке с врагом.



**«ПИСЬМО ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ЭТНОГРАФИИ АКАДЕМИИ  
НАУК СССР И. Н. ВИННИКОВА ЧЛЕНУ ВОЕННОГО СОВЕТА  
ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП (б) А. А. ЖДАНОВУ**

*23 сентября 1941 года*

Распоряжением начальника I и II участков обороны Василеостровского района в здании Института этнографии Академии наук СССР (кстати, это здание является одним из немногих сохранившихся древнейших сооружений нашего города; в этом здании были заложены великим Ломоносовым основы русской науки и помещалась прославленная Кунсткамера, учрежденная Петром I) приступили к оборудованию и установке огневых позиций и точек. При этом позиции и точки устанавливаются в помещениях, в которых хранится огромное количество коллекций, имеющих общегосударственное и мировое значение. Эти коллекции не могут быть перемещены ни в какое другое помещение внутри здания, а сами помещения не могут быть изолированы от других помещений музея, которые в свою очередь заняты ценнейшими собраниями. Далее, неизбежное размещение в музее войсковой части для обслуживания названных огневых точек нарушит всю систему охраны здания музея и его ценностей и в значительной степени нарушит проводимую научным персоналом музея работу.

Так как музей Института этнографии Академии наук СССР является учреждением, имеющим всесоюзное и общенациональное значение, я считаю своим долгом обратить внимание Военного совета обороны г. Ленинграда на необходимость принятия всех возможных мер для обеспечения сохранности накопленных столетиями ценностей музея.

*Директор Института этнографии  
Академии наук СССР профессор И. Винников».*

Как ни трудна профессору военная терминология, но «обслуживание названных огневых точек» действительно может «нарушить проводимую персоналом работу музея», с этим согласились партийные начальники, и секретарь ЦК пишет секретарю Василеостровского РК:

«Тов. Шишмареву.  
Это верно. Жданов».

Как хрупок, как уязвим этот город, как мужественны, талантливы и беззаветны женщины, его сберегавшие.

С началом войны была проверена документация на все значительные исторические сооружения, по которым можно будет их восстановить в случае разрушения.

Выяснилось, что царский дворец на Каменном острове, в строительстве которого участвовали великие зодчие, необходимыми чертежами не располагает. В течение половины августа и сентября сотрудниками ГИОПа был проведен полный обмер и паспортизация всего дворцового комплекса и его декоративного убранства. (Сегодня, как об этом не вспомнить, районное бюро инвентаризации полгода оформляет документы на убранную перегородку в квартире или построенный стенной шкаф.) В эти же месяцы велась огромная работа по укрытию памятников, были зарыты в землю скульптуры в Летнем саду и в парках пригородных дворцов, проведена работа по маскировке шпилей и куполов, сняты декоративные скульптуры с Зимнего дворца, Адмиралтейства и других исторических зданий. К сентябрю 1942 года 200 из 300 зданий-памятников имели повреждения и разрушения, все работы по устранению завалов и угрожающих падением стен проводились под руководством районных архитекторов. Под их же наблюдением проводилось приспособление более 50 зданий-памятников к новым целям, предписанным военным временем. Не позволяя новым хозяевам заниматься варварской перестройкой, архитекторы сами изготовляли проекты «текущего регулирования». Так были спа-

сены от уродующих перепланировок парадный зал Мариинского дворца, помещения во дворце Юсуповых, здание на Тучковом Буяне. Всего не перечислить.

Сегодня десятки исторических зданий выставляются на продажу, так как у города Санкт-Петербурга нет средств на их ремонт и содержание. Почему же в блокадном Ленинграде отдел охраны памятников даже в самые трудные месяцы вносил в бюджет 125 тысяч рублей вместо 150 тысяч рублей мирного времени. И это притом что многие здания, занятые военными организациями и эвакуированными учреждениями, перестали давать доход.

Сколько же весят на блокадных весах эти 125 тысяч, если деньги – эквивалент труда?

Блокадные веса... В какие странные сюжеты оказывались они вовлечены.

Эвакуация из города в конце ноября стала одной из сложнейших, требовавших незамедлительного решения проблем. В начале декабря, казалось, открываются новые возможности. Разрешение на выезд и средства эвакуации могли получить да и то с большими сложностями наиболее ценные для производства специалисты, люди заслуженные. Это на одной чаше весов, отмерявших жизнь, а на другой...

## **«ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МИЛИЦИИ П. С. ПОПКОВУ О ЧИСЛЕ ГРАЖДАН,**

### **ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫСЕЛЕНИЮ ИЗ ЛЕНИНГРАДА, С ПРОСЬБОЙ ВКЛЮЧИТЬ ИХ В ПЛАН ЭВАКУАЦИИ**

*5 декабря 1941 года*

*Совершенно секретно*

В соответствии с директивой НКВД СССР Управление милиции с объявлением войны провело учет уголовного рецидива и социально-паразитического элемента, подлежащего выселению из Ленинграда. Кроме того, подлежали эвакуации иностранцы и лица без гражданства.

Вывоз всех этих контингентов не был нами осуществлен в связи с перерывом железнодорожного сообщения.

За этот же период в Ленинграде осело несколько сот освобожденных из тюрем, лиц, прибывших без права на прописку, и тому подобных граждан, не подлежащих привлечению за нарушение паспортного режима за невозможностью выдворения их из города. Поэтому они были временно прописаны в Ленинграде.

Всего на 5 декабря состоит на учете подлежащих выселению по указанным основаниям:

1. Контрреволюционный элемент и уголовный рецидив, на которых имеются оформленные постановления УНКВД ЛО и городского угрозыска .....762

2. Лиц, подлежащих выселению на основании паспортных ограничений .....603

3. Лиц без гражданства .....65

4. Иностранцев .....84

Итого: 1514

Имея в виду, что в настоящее время имеется возможность вывоза, прошу Вашего распоряжения о включении указанных лиц в план эвакуации на следующую неделю.

*Начальник Управления милиции гор. Ленинграда старший майор милиции Е.  
Грушко».*

Нынешние милицейские генералы, опекающие Санкт-Петербург, могут лишь позавидовать старшему майору Грушко, имевшему на примете «социально-паразитического элемента»

и «уголовного рецидива» всего-то 762 души. Это нынче не масштаб даже самого благополучного из районов города.

По совпадению, обретающему то ли аллегорический, то ли иронический смысл, старший майор решил заняться судьбой своих подопечных «контингентов» в День Конституции. Вот и резолюция была под стать акту неожиданного милосердия.

Резолюция: *«Тов. Смирнову. При первой возможности надо эвакуировать машинами. Попков. 10.XII.41».*

Люди спасали город, и город спасал людей.

Каждый из оказавшихся в кольце стал участником великих событий.

А как же дети, как же беспомощные старики?

Разумеется, здесь не может быть речи о вкладе в победу, напротив, уже готовясь к обороне и в ходе ее, город-воин старался увести фактически с поля боя тех, кто мог служить только мишенью, кто дополнительным грузом забот осложнял и без того тяжкую ситуацию.

Но блокада – это подвиг организации и проведения эвакуации более миллиона человек в тяжелейших условиях.

Это и горестные ошибки, когда из четырехсот детей, вывезенных из города в июле – августе 1941 года, почти половина была вынуждена вернуться обратно в город, так как при отсутствии оперативного руководства фактически вывозилась навстречу наступающему врагу.

Из отрезанного по суше города поезда от Финляндского вокзала до Борисовой Гривы на Ладоге шли больше суток, люди ждали погрузки на автомобили и баржи по полсуткам, были нарушения в боевом охранении, санитарном и медицинском обеспечении потока эвакуированных, не справлялась с перевозками и едва не встала в апреле 1942 года и Северная железная дорога, испытывая острую нехватку в вагонах и паровозах. Но девятьсот семьдесят тысяч ленинградцев и более трехсот тысяч жителей Прибалтики и прилегающих к Ленинграду областей, оказавшихся в блокадной ловушке, были вывезены. И каждая спасенная жизнь – это труд тысяч людей, организовавших и обеспечивших эвакуационный поток. И может быть, по вине кого-то из этих же самых людей не удалось спасти тех, кого еще можно было спасти.

Нас вывезли из города от Кушелевки до Осиновца на поезде, от Осиновца до станции Жихарево в автобусе по льду в начале февраля 1942 года. И деревянный вокзал на Кушелевке, ближе к центру города, чем Политехнический институт и Лесотехническая академия, для меня самая важная станция, откуда для нас, для меня, началась дорога жизни. Мы были обречены, нас вывезли, подарили жизнь.

Попытки начать перевозки по льду через Ладогу были предприняты еще в последних числах ноября, и уже к 6 декабря под неокрепший лед ушло 126 автомашин. Риск был слишком велик, 12 декабря Военный совет Ленинградского фронта останавливает перевозки через Ладогу, возобновятся они только 21 января 1942 года.

С возобновлением перевозок по Ледовой дороге на первые числа, с 23 по 25 января, была поставлена задача перевозить по 1200 человек, а начиная с 25 января не менее 2400 ежедневно. Решение было подкреплено 50 автобусами для перевозок по льду и необходимым количеством автобусов для подвозки эвакуируемых к Финляндскому вокзалу в черте города, выделен бензин.

На конечных пунктах ледовой трассы были устроены ремонтные автомастерские, кроме них, были оборудованы еще две подвижные аварийные мастерские для оказания помощи в пути. Эвакопункты, питательные, медицинские пункты были устроены наспех, в полной мере не отвечали требованиям эвакопотока, но были. Для движения транспорта по фронтальной дороге, как теперь именовалась трасса, был составлен график, согласованный с подачей и отправлением железнодорожных составов со станции Жихарево на том, восточном берегу Ладоги. На каждый эшелон полагались, кроме начальника и старшего по вагонам, врач и медсестра, коим надлежало сопровождать эвакуируемых до места назначения. Но медицинского

персонала не хватало, далеко не все вагоны были оборудованы печками-временками и настилами, была неразбериха, и не всегда бескорыстная, с питанием. Снабжение эшелонов кипятком требовало постоянного внимания и усилий на станциях, через которые шли эшелоны с ленинградцами.

Обстрелы, бомбежки, гибель людей в пути...

Да, нас с братом спасла мать, спас приехавший в командировку инженер Амбаров, но мать, жена коммуниста, была жива, и Амбаров мог приехать в Ленинград, потому что здесь не было фашистов, потому что была проложена Дорога жизни, город сражался, сражался все тысяча четыреста пятьдесят шесть дней, это только в осаде девятьсот.

На каких весах измерить дела человеческие, где подвиг и преступная близорукость, самоотвержение и трусость, самопожертвование и шкурничество – все было рядом, все было сплетено.

Ленинград вернул и возвысил изначальный смысл самого слова – город, град.

Град в славянских языках – это замок, крепость; в древнем дописменном русском языке город – это ограда, забор, укрепленное место.

Раньше города защищались стенами, в расчете на это и Петербург начался с крепости, которой по иронии судьбы не суждено было произвести ни одного боевого выстрела. А в Великой Отечественной войне выстоял именно Город, во всей полноте своей внутренней силы, куда более важной, нежели стены, и даже предусмотрительный припас. Город был тем высочайшей жизнестойкости организмом, который умножался силой горожан и сам эти силы поддерживал. Изможденным он отказывал в праве на смерть, он требовал непрерывной городской службы. Его технические, производственные, военные ресурсы требовали человеческих рук и воли. Он выстоял, потому что не распался на «очаги сопротивления».

Все многосложное городское хозяйство, весь городской обиход существовал в новом контексте.

Все было его заботой. Сложнейшие вопросы, связанные с эвакуацией жизненно важных для страны предприятий и налаживанием работы оставшихся производств в условиях осады, вопросы военного учета и мобилизации горожан как в армию, так и в ополчение, отряды МПВО, трудовые отряды на оборонные работы и очистку города, спасение от эпидемий. Все становилось жизненно важным и требовало новых решений: функционирование рынков, бань, детских домов, парикмахерских и мастерских по бытовому ремонту.

1 марта 1942 года в городе было открыто 67 парикмахерских, 94 пункта по ремонту обуви, 91 пункт по ремонту и пошиву одежды, 33 пункта по ремонту различной хозяйственной утвари. Все это хозяйство не подснежники, сами собой вылезаящие из земли, едва пригреет солнышко. Нужно было возродить, вдохнуть жизнь, сделать полнокровным городской обиход, приспособиваясь к условиям войны и блокады, но не отступая перед ними.

Знаменателен для страшного марта 1942 года традиционный аккорд, завершающий отчет о проделанной работе, заведующего отделом местной промышленности горкома ВКП (б) Г. В. Гудкина, датированный 20 марта: «Для обслуживания нужд трудящихся города сделано еще очень мало и не использованы все возможности и резервы предприятий местной промышленности».

В городской обиход непременно входят праздники; ни война, ни блокада календарь изменить не в силах.

## **ИЗ ДНЕВНИКА КРАСНОАРМЕЙЦА С. И. КУЗНЕЦОВА. 1942 год**

«1 мая.

Первомайские праздники объявлены рабочими днями, но в городе кое-где вывешены красные флаги, плакаты и портреты большевистских главарей. Кроме этого, по-видимому, с

целью украсить город, в магазинах выставлены бутафорские товары – овощи, фрукты, кондитерские и гастрономические изделия, сделанные из пластмассы. Последнее обстоятельство вызвало у населения с трудом скрываемое неудовольствие.

19 июля. Ездил на почту, и в честь физкультурного праздника выдали 100 гр водки.

26 июля. День флота СССР. Праздник прошел хорошо, в ужин поел досыта.

6 ноября. Работал на заводе, исправлял отопительную сеть и в кочегарке переставлял прокладки на паропроводе. В 7 часов вечера зашел к профессору Лебедевой Л. А., где и встретил праздник Октябрьской революции, то есть принял 50 грамм водки и скушал пирожок с рисом и морковью.

7 ноября. Посетил проф. Лебедеву, исправил примус, и остальное время провели с нею за чайком. Я так был доволен этой живой беседой, что забыл даже, что нахожусь в Армии. Как надоело это бесполезное, кровопролитное дело. Как хочется вернуться к мирной жизни и своему очагу.

5 декабря. Праздник сталинской Конституции, дали 50 гр. спирта и больше ничего. Работал на заводе. Вечером получил два письма от Жени, пока жива, деньги мои получила. День прошел без всяких приключений – и настроение хорошее».

## 1943 год

«23 февраля. Праздник провел хорошо, был у проф. Лебедевой, и праздник провели с ней вместе.

8 марта. День провел хорошо. Послал письмо брату Ване».

Брат Ваня, как отмечено в дневнике, будет четыре раза ранен и четыре раза после госпиталя отправлен на фронт, после пятого ранения уже не фронт не пошлют.

Дневник Степана Ивановича Кузнецова немногословен и потому загадочен. О дружбе с профессором Лидией Александровной Лебедевой, как она возникла, чем держалась, ничего не сказано. Мало что проясняет и запись от 11 июля 1943 года: «Неожиданная радость, меня в 12 ч. посетила Лидия Александровна, я и не знаю, какую она ко мне питает привязанность и называет сыном. Я даже и не знаю, чем я так оказался для нее хорош. Она все последнее отдает для меня. Сегодня принесла 6 шт. белых пирожков и 2 бутерброда с колбасой, а я знаю, что она ради меня обидит себя».

Красноармеец, рядовой Кузнецов, Степан Иванович, аккуратно вносит в дневник записи обо всех приобретениях и о том, кому и сколько выслал денег. Так, только за вторую половину 1942 года за 5 кг крупы приобрел коверкотовый костюм, пальто купил за 600 рублей, маме послал 2000 рублей, сестре Дусе 600 рублей, жене 1500 рублей. И притом что и в январе 1943 года матери будет послано 1000, брату 600 и жене 500. За 1100 рублей куплен отрез черного сукна, 3 метра.

Вот цены на Кузнечном рынке в феврале 1942 года. Хлеб при государственной цене 1 рубль 25 к. за кг – 40 рублей за 100 грамм, но это если повезет, на рынке хлеба мало. Пачка рублевых папирос «Звездочка» – 40 рублей, «Беломор» – 60. За стограммовую пачку табаку просят 300 – 400 грамм хлеба. В средствах Степан Иванович, судя по всему, не очень стеснен, но это его не утешает: «Проклят тот, кто рядовой, его не считают ни во что, невзирая на образ».

Чтобы хоть как-то изменить свою жизнь, решил вступить в партию. И чистосердечно записал 3 сентября 1943 года: «Утром узнал, что меня будут принимать в партию. А в 12 час. дня я уже был принят кандидатом в члены ВКП (б). Хотя бы после войны мне найти полегче работу и поспокойнее, а то изныл я под тяжестью трудов». «7 октября. Мне вручили билет кандидата партии, но не знаю, что из этого я получу, а волокиты было много...»

Следователь контрразведки подчеркнет эти записи, но судьба будет милостива к Степану Ивановичу Кузнецову, он доживет до девяноста лет и будет с воинскими почестями похоронен у себя в Вышнем Волочке как почетный гражданин города.

Очень важно, чтобы наша память хранила, каково было каждому из тех, кто был приговорен врагами к уничтожению, оказался в осаде, кто оказался лицом к лицу со страшным, нечеловеческим испытанием и сумел запечатлеть эту жизнь. Блокада – это не выставка добродетели, не смотр доблести и героизма, не марш победителей. Не все выдержали испытание, не всем довелось прожить и умереть по-людски. И не мне быть судьей. Пока сам не окажешься испытан огнем, голодом и сжигающим душу морозом, как знать, хватит ли у тебя сил все это вынести.

У каждого, в конце концов, свои будни и свои праздники.

### **ИЗ ДНЕВНИКА Н. П. ГОРШКОВА. 1942 год**

«8 марта. Воскресенье (Международный женский день). Весь день ясная хорошая солнечная погода, небольшой ветерок. Утром мороз -12. Днем на солнце – 14.

Пальба на фронте с 5 час. утра и с перерывами в течение всего дня. Неприятель несколько раз с утра до позднего вечера (раз 5 – 6) обстреливал город снарядами... Обстрел мирного населения – не что иное, как наглое хулиганство врага, т. к. никакой пользы для себя неприятель не достигает. Обстрелом не сломишь и не запугаешь ленинградцев, мужественно и стойко переносящих все тяжелые обстоятельства вражеской блокады.

В городе по случаю Международного женского дня очень много организованных женщинами воскресников по уборке и приведению в порядок города. Бригады скалывают лед на улицах, на трамвайных путях, очищают дворы от вылитых и замерзших нечистот. В остальном жизнь города без перемен.

1 мая. Хорошая ясная погода. Проходящие редкие облака. Утром в 6 час. температ. +2. Ночью и утром пальба на фронте и обстрел.

Днем вражеские самолеты несколько раз пытались прорваться в город, но шквальный огонь наших зениток заставлял повернуть их обратно. Весь день великого международного праздника прошел спокойно. Повсюду на предприятиях и в учреждениях работа шла обычным порядком, как и в будние дни, но все почистились, помылись и приоделись по-весеннему. На улицах и в домах всюду наведена чистота, вывешены флаги. Город имеет приятный праздничный вид, ходят трамваи. Погода теплая, +12 (в тени). Солнечно. У населения были опасения, что враг в праздник сделает воздушный налет, но это не удалось, немцы ограничились обстрелом, который начался в 14 час. и продолжался очень короткое время».

Ни День физкультурника, ни День флота СССР не помянуты, лишь обычные в эти дни записи об обстрелах и о погоде.

А это уже 1 мая 1943 года.

«С утра погода холодная, пасмурная, t +5. По радио передают приказ Верховного главнокомандующего т. Сталина № 195. В это время злобный враг уже производит арт. обстрел города крупными снарядами, выпуская по 3 – 4. Враг через некоторый промежуток снова возобновляет обстрел. Днем обстрел был несколько раз. На улицах заметно больше народа, чем обычно в будние дни. Жизнь в городе идет обычным порядком: трамваи идут полными, в кино очереди за билетами, радио не умолкает. Передаются «последние известия», гремит музыка и т. д.

Вечером прошел дождь. Обстрел прекратился. Ночь прошла спокойно».

«7 ноября. XXVI годовщина Октябрьской социалистической революции. Сегодня и завтра нерабочие дни, кроме работы на непрерывно действующих предприятиях и на транспорте.

Погода с утра облачная, холодная, сухая.

Враг рано начал обстрел. Временами слышна сильная канонада. Несмотря на военную обстановку, повсюду много народа: на улицах, в кино, в трамваях. Заметно праздничное бодрое настроение.

В 19 час. 30 мин. объявлен приказ маршала Сталина о взятии нашими войсками гор. Фастова. Вечером шел мокрый снег».

Вот так и дожили до 27 января 1944 года, день за днем, час за часом, минуту за минутой. Этот день ждали все, и все знали, что он войдет в летопись и календарь города навсегда. Не знали только, что ждать придется так долго, у многих сил не хватит, так и не дождутся...

### **ДНЕВНИК НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА ГОРШКОВА. 1944 год**

«27 января. Пасмурно, t +1. Тишина. В городе уже с раннего утра начинается спокойная жизнь без опасений внезапного артобстрела. Враг местами сильно сопротивляется натиску наших войск, но вынужден отступать, оставляя груды трупов своих солдат, вооружения и техники. Трофеи, захваченные у врага, огромны. Местами немцы бросают все и бегут в панике. Приезжающие с фронта рассказывают много эпизодов. Пленных захвачено около 3 тысяч, а убитых с 15 января свыше 40 тысяч.

Вечер приносит необычайно радостное сообщение о ликвидации блокады Ленинграда.

В 19 час. 45 мин. радио оглашает приказ командующего Ленинградским фронтом генерала Говорова и членов Военного совета генерал-лейтенантов Жданова А.А. и Кузнецова о разгроме немецких войск, осаждавших Ленинград.

Конец блокаде, конец бесчеловечным арт. обстрелам.

Смерть немецким захватчикам.

В 20 часов город Ленинград сам салютует войскам своего фронта, освободившим город от осады. В воздух летит бесчисленное множество разноцветных ракет в разных сторонах города. От блеска ярких разноцветных ракет становится светло как днем. Множество лучей прожекторов упираются в небо. Гремит мощный артиллерийский салют в 24 залпа из 324 орудий.

На Невском проспекте множество публики наблюдают необычайное зрелище салюта. До сего времени салюты в честь побед нашей армии производились только в Москве – столице нашей Родины. Сегодня разрешено хождение по городу до 1 часу ночи. Город ликует».

Битва еще не завершена.

«28 января. На Невском осматривают уличные фонари. Готовят к включению освещения. Полностью освобождена Октябрьская железная дорога, прямая связь Ленинграда с Москвой восстановлена. К билету прилагаются талоны на три бутылки пива и бутерброды!

29 января. На Ленинградском фронте идет успешное наступление, занято много населенных пунктов и станций жел. дороги.

30 января. Еще третьего дня, в связи со снятием блокады, все трамвайные остановки переведены на прежнее место, т. к. более нет опасности обстрела.

В доме надо наводить порядок, все расставлять по своим местам.

31 января. Ясное зимнее утро. t -2. Редкая облачность. Днем и вечером подсыпал снег.

Настоящие записки о днях блокады Ленинграда полчищами гитлеровцев, начатые 4 сентября 1941 года с первого вражеского артиллерийского выстрела по городу, закончены».

Блокада завершена, можно и блокадные весы сдать в музей. Но они никогда уже не успокоятся, они будут раскачивать нашу душу, тревожить совесть, напрягать ум...

Что же с нами было?

Мы ли это были?

Как же можно было такое допустить?

Как же можно такое вынести?

\* \* \*

За эти три года мы с братом подросли. Живем под Мурманском, в Кандалакше, живем в чужой избушке между забором 310-го завода и берегом Кандалакшского залива.

Взявшись за руки, чтобы не потеряться, мы ходим с братом на станцию, смотреть, как разгружаются войска. Солдаты, прибывшие с уже освобожденной Украины, весело смотрят из теплушек на валуны, скалы, сопки, лес. «Да у вас тут и три года воевать можно, не убьют!» В октябре немцев вышибут из Заполярья, как пятьсот лет вышибали отсюда всех, кто незваным приходил на эту землю устраивать «светлую, счастливую и мирную жизнь» на свой манер и со своим интересом.

Брат старше, не вставая на цыпочки, он может видеть всю скатерть на столе. После того как мама убрала обеденную посуду и ушла мыть ее на кухню, мы, не сговариваясь, подходим к столу, я приподнимаюсь на носках, одной рукой держусь за край и, послунив палец свободной руки, цепляю на него оставшуюся на скатерти хлебную крошку. Брат может действовать двумя руками, ему не надо держаться за край стола, но это будет не честно, можем и подраться. Иногда попадается целая крошища! Тогда мы хвастаемся друг перед другом удачным трофеем.

Мама застаёт нас за этим занятием и сразу в слезы: «Прекратите! Я сколько раз вам говорила!? Вы что, голодные? Не рвите мне душу! Вы есть хотите?!» Мы знаем, что хотеть есть после обеда неприлично.

Молча, как пойманные за дурным делом, отходим от стола.

Мама сдергивает скатерть, чтобы ее вытрясти.

Разве маме объяснишь, какое это невесомое счастье – крошка хлеба!

Когда хлеб резали и взвешивали на весах, на плоской чашке с погнутыми краями всегда оставались крошки...

*Март 2005 года*



## ПЕТЕРБУРГ – ЛЕНИНГРАД. СТОЛКНОВЕНИЕ МИФОВ

### К вопросу о современной мифологии

Величайшее заблуждение – относить миф к первобытному способу описания и понимания мира.

Увы, миф по сегодняшний день остается едва ли не для подавляющей части населения наиболее авторитетным инструментом, позволяющим ориентироваться и в настоящем, и в прошедшем.

Миф, несущий в себе ясность понимания окружающего нас мира, относится к одной из самых темных областей человеческого сознания.

Миф – один из самых широких путей, на которых мы, докапываясь до истины, рискуем стать пленниками ямы, которую сами же себе и выкапываем.

Для себя я определяю миф как опережающее знание.

Мы еще не понимаем, например, природу явления, но уже объясняем.

Наше сознание, говоря словами Платона, стремится вынырнуть из мира, становящегося в мир сущностей, то есть устойчивый и определенный.

Наука тоже претендует быть водителем в мир сущностей, но она иерархична, она требует усилий, подготовки, фундамента изначальных знаний, движения от простого к сложному... Мифологическое же знание выигрывает в сравнении с научным, оно непосредственно и наивно, оно не требует предварительной подготовки и в себе окончательно.

Практическая потребность в окончательном знании так высока, что можно говорить о бессмертии мифа.

Прибегаю к авторитету А. Ф. Лосева, убедительно, на мой взгляд, доказавшего, что «миф есть (для мифического сознания, конечно) наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей степени напряженная реальность... Это и есть сама жизнь».

Подтверждением справедливости сказанного служит тот факт, что на протяжении едва ли не двухсот лет мы имеем дело с мифом о Петербурге как с подлинной, а не сочиненной реальностью.

Выступаю в Москве на радио «Эхо Москвы». Редакция предлагает задать радиослушателям несколько вопросов о Питере, первым правильно ответившим будет вручен приз.

Спрашиваю: кто руководил закладкой крепости на Заячьем острове в устье Невы 16 мая 1703 года?

Шквал звонков радиослушателей. Все, даже с подробностями о дерне, вырезанном солдатским багинетом, с описанием орла, кружившего над местом исторического события, объявляют – героем события, непосредственно вырезавшим дерн и руководившим закладкой крепости, был Петр Первый.

И вот вопрос. Так ли важно знать, что Петра Первого в этот день и близко к невоскому устью не было, он был на верфях на реке Сясь? Так ли важно знать, что закладкой крепости руководил Меншиков? Да и нужно ли, к примеру, знать, сколько десятков селений было на берегах пустынных волн, когда туда пришел Он, дум великих полн? И надо ли знать, что человек в этих краях селился много тысяч лет, задолго до того, как прорвавшаяся из Ладоги вода образовала и саму реку Неву?

Может быть, действительно тьмы истин нам дороже нас возвышающий обман?

Дело за малым: надо доказать или поверить, что обман хотя бы возвышает.

И возвышают ли читателя исторические труды, сознательно припускающие обман к облику достоверных сообщений?

Храня, по совету Пушкина, уважение к именам, осененным славою, замечу, что отсутствие Петра при закладке крепости, ставшей первым сооружением нового города, нисколько не умаляет заслуг Петра.

Можно спорить, конечно, что интересней – реальная история или выдуманная; в пользу выдуманной можно привести много аргументов, один из весомейших – эстетический. Привнесенная в историю выдумка – это как бы краски, как бы светотени, позволяющие ясней увидеть и понять сущность событий, значимость исторических персон. Стоит у Петра «отнять» закладку крепости своими руками, как и царь, и город что-то безвозвратно потеряют в глазах созерцателей истории.

По моему же убеждению, сама история, сами исторические события и действующие лица, не выдуманные, не приукрашенные фантазией, обладают эстетической выразительностью, в себе самих несут метафоричность. Так что вопрос может быть поставлен достаточно просто: можно и приносить в историю эстетический элемент, и это путь мифологизации истории, и можно выявлять содержащийся в самой реальности метафорический, значимый образный смысл, что позволяет, приоткрывая сущность, оставаться в границах фактов.

Не только многочисленные художественные опыты описания возникновения и расцвета Санкт-Петербурга в XVIII веке тяготеют к мифотворчеству, но и в сочинении «О зачатии и здании царствующего града Санкт-Петербурга» миф и реальность даны в прочном и почти неразличимом переплетении. Миф не только претендует на замещение реальности, но и осуществляет это замещение.

Авторы, прославляющие новую столицу, несмотря на историческую приближенность к описываемым событиям, выводят их из исторической хронологии и погружают в мифическое время.

Зачем? Для красоты, для возвышения?

Как раз для мифа характерно как бы изначальное, перво-время, которому ничто не предшествовало.

Не сегодня замечено, что Пушкин в своем гениальном вступлении к «Медному всаднику» открыто предъявил мифологизацию реальных исторических событий в библейском духе.

«Земля была безвидна и пуста...»

«На берегу пустынных волн...»

Замещение имени Петра местоимением «Он» с большой буквы есть прямой знак отождествления исторического героя с Творцом тоже с большой буквы.

Все начинается по Слову. Сначала было Слово...

И нам это Слово предъявляется: «Здесь будет город заложен». Почему же, предпослав поэме несколько строк предисловия, заверяющего читателя в том, что «происшествие, описанное в сей повести, основано на истине», во вступлении нам преподносят миф?

Вольно или невольно, но в поэме, названной автором «петербургской повестью», сталкивается миф и реальность. А можно сказать и о столкновении двух реальностей, поскольку идея, получившая воплощение в городе строгого и стройного вида, такая же реальность, как и картина «наглого буйства» природы со всеми печальными и реальными последствиями.

Нужно заметить при этом, что столкновение происходит в нашем сознании, в наших чувствах, в чувствах героя, в безумии, грозящем Творцу. Автор как бы не замечает предъявленного им же противостояния.

В соответствии с традицией мифологии, констатирующей данности, но мало интересующейся процессами, поэма допускает трансформацию творческого духа в идола, в медного кумира, враждебного живому, полному любви и надежды человеку.

Нас подводят к интереснейшей драматической коллизии, заключенной в самой истории; назвать эту коллизию можно – кризис идеи.

Сошлюсь на Кьеркегора, писавшего о том, что идея достигает своей высоты, когда она сформулирована. Идея может быть тождественна лишь себе самой. Выходя в мир человеческой практики, она утрачивает себя. История воплощения идеи, если говорить кратко, есть история ее деградации. Наблюдение невеселое, но имеющее, к сожалению, множество подтверждений.

Едва ли автор «Медного всадника», искренне и вдохновенно объявивший о своей любви к городу, рожденному волей Творца, согласился бы с тем, что разговор о деградации перед лицом «полночных стран красоты и дива» уместен. Напротив, в точном соответствии с ощущением автора, с его убеждением творится миф о достигнутой цели. Замечу уж попутно, что и главный сюжет мифологии Ленинграда тот же – это миф о достигнутой цели.

В пределах мифа нет противоречия между замыслом и воплощением. Задуман великий город – и построен великий город.

Трагическая коллизия между замыслом и воплощением расположена как бы за пределами мифа, там, где вступает в свои права непосредственная реальность, наводнение, судьба несчастного горожанина, обывателя.

Пушкин – это срединно-русская возвышенность, с которой берут свое начало многие литературные течения и потоки.

Если до Пушкина литературный миф о Петербурге был переполнен славословием и благодарностью, преподносимой основателю города, то Пушкин, блистательно завершив строительство мифа о земном Парадизе во вступлении к «Медному всаднику», самой «петербургской повестью» дал начало мифу о городе-деспоте, враждебном живому человеку.

В этой связи необычайной значимостью открываются как бы полусерьезные строки: «Город пышный, город бедный...», написанные почти за четыре года до «Медного всадника». Здесь духу неволи, скуке, холоду и мертвенному граниту противопоставлены... «маленькая ножка» и «локон золотой», пробуждающие легкое, веселое чувство и тайную надежду на чувство ответное.

Только живое, только человеческое может возвыситься над холодом и гранитом, освободить от духа неволи.

Эти строки, «Город пышный, город бедный...», могли бы стать эпиграфом к гоголевскому «Невскому проспекту».

Гоголь гениально прозрел, закрепил убийственно точным словом и удивительно емким сюжетом кризис исторического движения.

Глядя на этот город, город, о котором он грезил, куда стремился и мыслью, и сердцем, город его мечты и чаяний, Гоголь видит «шевеление», а не движение, не порыв...

Слово не случайное, оно повторяется и в «Петербургских записках», и в «Невском проспекте».

Слово-то страшное, разоблачительное – шевеление! Это, знаете ли, из описания существ не высшего разбора, которые сбиваются вместе...

Движение закончено, цель достигнута, историческая поступь сменяется копошением...

«Петербург весь шевелится от погребов до чердака».

Вот тебе на, обещанный, чаемый и вроде бы достигнутый «пир на просторе» завершился шевелением на чердаках и в подвалах. Это «Петербургские записки». А вот «Невский проспект».

Упали сумерки. Нерукотворный свет погас. Зажегся свет рукотворный, высвечивающий пространство обитания людей. Сам же город как реальность исчезает, становится плоской декорацией фантастического представления. Подлинные же в эту пору в нем только люди...

И что же?

Невский проспект «опять оживает и начинает шевелиться». «В это время чувствуется какая-то цель или что-то похожее на цель, что-то чрезвычайно безотчетное; шаги всех ускоряются и становятся вообще неровны...» «...какая-то цель или что-то похожее на цель...»

Что же это за цель или нечто на нее похожее?

Сюжет «Невского проспекта» дает ответ на этот вопрос чрезвычайной важности.

Цель очевидна – человек ищет человека.

Движение людей друг к другу – это и есть, быть может, самая высокая и значительная цель, но здесь она неосознанна, существует стихийно, поэтому она лишь «какая-то» и только похожа на цель.

Однако фантастические декорации, в которых происходят как бы бытовые события, выводят их из бытового ряда.

Встречаются два приятеля.

Встречаются, ищут встречи мужчина и женщина.

Но город, лгущий в каждую минуту, извратил и сделал ложными человеческие отношения, и потому оборачиваются они либо трагедией, гибелью, либо фарсом, поркой.

Казалось бы, чтобы построить прекрасный город, необходимый России для самоутверждения, цель достаточная. Ан нет!

Вечная российская коллизия: человека забыли!

А когда вспомнили, то увидели, что лишь «локон золотой» да «маленькая ножка» примиряют нас с этим городом. А вообще-то город сам по себе, люди сами по себе. Иначе и быть не могло, поскольку в идее города человек предусмотрен не был.

Этот переход от одного петербургского мифа о земном рае к прямо противоположному мифу о городе-деспоте, о городе-демоне – лишнее напоминание о том, что целью человеческой деятельности в конечном счете может и должен быть человек, и только человек. Все остальные цели рано или поздно обнаруживают внутреннюю исчерпанность. Человек же – цель бесконечная и неисчерпаемая, потому что он обновляем со своими чувствами, потребностями, мечтами и т. д.

В великом замысле Петербурга не было блага человека как цели.

Увы, и в замысле Ленинграда благо отдельного человека хотя и будет обозначено, но слишком поздно и с изрядной долей рекламного лицемерия.

Итак, «Невский проспект» открывает широчайшую дорогу для вариаций на тему мифа об утраченной цели.

Упрется же эта дорога непосредственно в дату 25 октября 1917 года, когда «кризис цели» будет преодолен и на целых семьдесят лет восторжествует миф обретенной цели.

Напомню уж попутно, что новый миф будет исполнен по всем правилам мифотворчества о сотворении мира.

Новый мир возникнет так же одномоментно, как свет, твердь, вода...

Рельсы по мосту вымевив,  
гонку свою продолжали трамы  
уже – при социализме.

*(В. Маяковский)*

Сознание того, что мы живем в мифическом пространстве в условиях насаждения мифического сознания, уже может быть предпосылкой некоторого отрезвления.

И оба мифа, и «окно в Европу», и «колыбель трех революций», стоят друг друга и дают богатый материал для изучения способов управления массовым сознанием.

Чаадаев в письме Хомякову, как мне кажется, иронически написал, дескать, историю можно подправлять и дописывать, если она предназначена для детей и преследует нравствен-

ные цели. Ну что ж, прославление мудрости и дальновидности государей ныне и присно и во веки веков – дело высоконравственное, а народ... то же дитё, так что можно писать: задумал царь город построить, новую столицу, пришел, место выбрал, план начертил и начал строить. И дело это великое было его рачительными наследниками доведено до полного блеска завершения.

И велика ли беда, что плана города не было. Вернее, он был, но все время менялся. Чего стоит только кочевье в поисках центра города. То Березовый остров, то Васильевский, а то и вовсе остров Котлин и, наконец, Московская сторона. И кто скажет, случаен ли план 1712 года, того самого, когда Петербург стал столицей, по которому острову Котлину, разлинованному, как тетрадь по арифметике, надлежало стать и центром, и столицей, отрезаемой от суши и страны не речными рукавами, а морской гладью на долгие весенние и осенние недели.

А начертаны и утверждены государем были не только проспекты и линии, не только планы образцовых домов, но уже и списки в несколько тысяч подданных разного звания, приговоренных к волевому переселению на остров, и по сей день наполовину гнилой.

Стремление Петра Первого к симметричной планировке чаемого города для меня символично. Симметрия – важнейший структурный принцип в природе. Но живое – асимметрично. Кристалл симметричен, а лист, бабочка, человек – нет.

Интересно следить за тем, как город, начав жить своей жизнью, как и полагается всему живому, стремится вырваться из уготованной ему творцом клетки.

Симметрия Васильевского острова весьма относительна. Симметричный Котлин не состоялся... Гением вольнолюбивого Петра Еропкина, павшего под бироновским топором и покоящегося в двухстах шагах от моих окон, город лучами трех проспектов вырвался на простор.

Что противостоит мифу, где столкновение?

Ответ вроде бы очевиден – реальность, но на деле, как мы чаще всего видим, один миф замещается другим.

Гениальные перья и недюжинные таланты всю вторую половину прошлого века, да и начало нынешнего, поддерживают миф о городе-демоне, о городе-деспоте, о городе, враждебном человеку, а он в это время творит, возвращает в своем лоне человека совершенно особой и удивительной породы, новое сословие – интеллигенцию.

История России XX века – это прежде всего история ее интеллигенции; не поняв природу этого удивительного сословия, трудно объяснить и трагические, и героические страницы российской истории XX века.

Да, именно в ту пору, когда творился и безраздельно властвовал миф о городе-деспоте, он, собрав могучие духовные и интеллектуальные силы России, стал почвой для появления нескольких поколений соотечественников, способных обостренно реагировать на чужую боль, способных к невиданному самоотвержению, способных перешагнуть через сословный эгоизм, подняться над расчетливым самолюбием...

У города менялись названия и правители, а он возвращал горожан, готовых своими немощными, истерзанными голодом и холодом телами защищать его до последнего дыхания...

Их было немного, всего несколько человек, но они пришли сюда, на Мойку, под эти окна в морозный январский день сорок второго, самого страшного в истории города года, и потрескавшимися губами произнесли слова лучезарного мифа:

«Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия!»

*Ноябрь 1999 года*

# МАЛЕНЬКАЯ СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА

## Повесть

*Подайте мой мотор.  
Шоффэр, на Острова!*  
**И. Северянин**

Что за причуда – использовать нынешнее небывалое еще время, когда почти официально разрешена даже и некоторая озлобленность против начальства, обрушиваться всей силой, всей мощью припасенных художественных средств на коровьего акушера в отставке, бывшего ветеринарного врача Владимира Петровича, обращая общественное внимание на его жестокий и неприглядный нрав! И это сегодня, когда вместе с масками с лиц, почитавшихся многие годы благодетелями человечества, летят прочь пенсне, усы, брови, кокарды, лампасы и звезды целыми созвездиями! И это в наши несчастные дни, когда повсюду вдруг обнаружились такие силы, о существовании которых еще каких-нибудь сорок-пятьдесят лет назад и помыслить было бы небезопасно. Где же таились они, эти силы? где накапливались? зрели, наливались?.. Ведь на невозмутимой поверхности подернутого ряской бытия царило безграничное послушание, молчание и дисциплина?..

Что ж, если не потянут мои худосочные герои, провиснет сюжет, не вытанцуется слог, ускользнет мысль и глухо прозвучит чувство, вещь должна уцелеть и пробить себе дорогу хотя бы как прогрессивная и потому похвальная попытка спасти от захирения и увядания старинный и почтенный жанр.

Среди всех существовавших доньше хроник предлагаемая семейная хроника обладает единственным и несомненным достоинством – краткостью! И это вовсе не заслуга автора, это заслуга нашего замечательного времени, когда сроки, отпущенные на существование семьи, измеряются не только короткими годами – если бы так! Не только недлинными месяцами – и это куда ни шло!

Если допустить, что где-то на земном шаре или во вселенной, а может быть, и за ее пределами есть семья такой прочности и такой продолжительности существования, каковые мы не можем даже представить своим умом, ограниченными пределами обозреваемого космоса, то так же смело можно предположить, что есть семьи, способные изумить всякого краткостью своего существования.

Излагая в полном объеме краткую историю семьи Владимира Петровича, каковая является лишь фрагментом семейной хроники Тебеньковых, любознательным людям будут сообщены сведения о жестоком поступке ветеринарного врача, будет изображен сам ветеринарный врач и его жертва, место действия, пейзаж, когда по известным ныне причинам и более значительные события были не способны всколыхнуть дремавшие гражданские чувства; при этом все будет описано сугубо кратким и правдивым пером, без пристрастия, с подобающей скромностью.

Ни тираны, ни изверги, ни злые духи, то там то сям бравшие под свою опеку все, что охватывала их рука: любовь, взор и мысль, – не коснулись ни Марии Адольфовны, ни Владимира Петровича, и поэтому оба героя должны быть отнесены к разряду безусловно второстепенных в рассуждении происшедшей всемирной истории, а принимая во внимание возраст, род занятий и вообще так никому, в сущности, и не понадобившуюся жизнь, их также следует отнести к разряду героев исторически бесперспективных, с точки зрения прекрасной своими неожиданностями истории человечества, которая еще поджидает своего часа в неприглядной дали времен.

В наши невероятные дни, когда почти отменена ненависть к бесцензурному слову, мысли, свободе, когда каждый думает все, что придет ему в голову, когда каждому дозволено считать себя не глупей некоторых, – в это самое время отвлекать общественное внимание на коровьего лекаря и его семидесятиоднолетнюю невесту, быть может, дело совершенно предосудительное, удаляющее людей доброй воли от забот прогрессивных и не терпящих отлагательств.

Заботиться же о Марии Адольфовне и тем более о Владимире Петровиче не надо, поскольку даже ко времени излагаемых событий они уже одной ногой стояли в могиле, а в нынешние времена, надо думать, природа помогла им сделать тот неизбежный и завершающий шаг, по важности своей в жизни человека сравнимый лишь с рождением. И с прямоотой и откровенностью, продиктованными нашими несчастными днями, следует сказать о том, что ни Марию Адольфовну, ни тем более Владимира Петровича отнести к людям доброй воли никак нельзя. Просто невозможно припомнить, чтобы за последние пятьдесят-шестьдесят лет они сделали что-нибудь примечательное для ускорения жизни на извилистых, а местами и политых кровью путях прогресса. И вообще не припомнишь, делали ли они хоть что-нибудь по доброй воле.

В ветеринарный техникум, как известно, Владимир Петрович попал не по доброй воле. Глубокие социальные корни – сын врача и конторской служащей с фабрики Мельцера – не позволили Владимиру Петровичу оторваться от своего недоброкачественного происхождения и проникнуть незамеченным в медицинский институт, как он того страстно желал. Не помогло и письмо наркому товарищу Семашко с напоминанием о заслугах отца Владимира Петровича, не однажды успешно врачевавшего пострадавших в сражениях Гражданской войны бойцов и командиров Красной армии. Отвергнутый стойкой в своих классовых убеждениях приемной комиссией как элемент, социально чуждый новому обществу, Владимир Петрович, исполненный сострадания ко всякой живой твари и лишенный права милосердствовать роду человеческому, удовольствовался возможностью пройти в еще не поставленный на строгую социалистическую ногу ветеринарный техникум и пользоваться мелкий и крупный скот и всяческих животных из домашнего сословия.

По доброй ли воле большую часть своей подзатянувшейся жизни Мария Адольфовна прослужила стрелком вооруженной охраны на материальном складе станции Кунгур? Семейная хроника сохранила достоверный ответ и на этот вопрос, и он прозвучит в полную силу в нужное время в припасенном для этого месте. А пока же надо честно и прямо сказать, что и за час, и за минуту до принятия столь важного для всей ее последующей жизни решения не думала и не мечтала Мария Адольфовна, урожденная пани Сварецка, встать под ружье на долгие годы...

Прежде чем приступить к делу основательно – с пейзажем, погодой, с визгом трамвайных колес на повороте, поскольку Мария Адольфовна ехала в загс на трамвае, петлявшем у Гренадерских казарм и летевшем как стрела по улице Братства, в то время как Владимир Петрович катил из своих Озерков на двадцатке напрямиком до бывшего учительского института, где разместился райком, а рядом в краснокирпичном здании казарменного типа ютились загс и бюро по обмену квартир, – так вот, прежде чем пуститься в эти лаконичные зарисовки, подтверждающие истинность излагаемых событий, надо кратко и сжато изложить всю историю разом и сообщить ее смысл.

Итак, ему было семьдесят ровно, и он стоял одной ногой в могиле, ей же всего за три дня до свадьбы исполнился семьдесят один. Они поженились настоящим порядком, официально, со штампом в паспорте, соответствующей записью и сердечными поздравлениями от дежурного депутата райсовета. Мысли депутата, не высказанные вслух, не будут изложены и позже. Родилась новая и, стало быть, в известном смысле молодая семья. Жить бы им и жить, совет да любовь, а все пошло совсем по-другому, потому что по завершении официальной церемонии Владимир Петрович поступил жестоко. Сразу после этого Мария Адольфовна уехала в свой

Кунгур, который, впрочем, своим так никогда и не считала, и больше своего жениха, то есть мужа, и в глаза не видела.

Смысл этой истории серьезный и нравоучительный: плохая штука – жестокость. Как бы все могло замечательно и прекрасно сложиться, и дальний план Клавдии Степановны мог бы осуществиться в полной мере... Так нет же!

После того как история изложена в самом кратком виде и обозначен ее смысл, можно приступить и непосредственно к хронике как таковой. Рассказ будет постоянно тяготеть к вышеупомянутой свадьбе, не отвлекаясь сообщениями о том, как она, Мария Адольфовна, похоронила собственноручно троих своих детей и мужа, или рассказом о бонбоньерке с шоколадом, не будет подробных картин и сцен, где можно было бы пронаблюдать, как собираются в молодежном общежитии старички, чай пьют, разговаривают...

Правила хорошей семейной хроники требуют прежде всего разъяснения, кто же эта загадочная Мария Адольфовна, урожденная пани Сварецка, и, главным образом, как это она опять очутилась в середине пятидесятых годов в городе Ленинграде, хотя это ее появление не отвечало государственным интересам. Прибыла она из Кунгура, куда уехала во время войны из Ленинграда, не то чтобы сама вот так взяла и уехала, просто с точки зрения людей, мысливших государственно, оставлять во время войны в городе, готовившемся к схватке с врагом, лиц с таким отчеством представлялось небезопасным.

Пани Сварецка, едва начались бомбардировки города, была тут же вызвана на Дворцовую площадь, носившую в ту пору имя убитого на этой площади Моисея Соломоновича Урицкого; решительный молодой человек с двумя шпалами в петлице безукоризненной гимнастерки попросил у нее паспорт, едва взглянул на сделанные в паспорте записи, на глазах Марии Адольфовны ловко, без видимых усилий порвал полуматерчатую ткань обложки и бросил в стоявшую рядом урну, уже заполненную наполовину такими же никуда не годными документами. После этого Марии Адольфовне без объяснений была вручена справка и категорическое предписание немедленно покинуть город. Так в начале августа сорок первого года с быстротой и удобствами, о которых не могли и мечтать сотни тысяч горожан, устремившихся в эвакуацию, пани Сварецка покинула еще не знавший о своей судьбе Ленинград.

Высаженная согласно предписанию сдержанного молодого человека с двумя шпалами на деревянном перроне станции уральского городка, славящегося своими мягкими для резьбы камнями и жесткими на вид и чуть грубоватыми в действительности нравами горожан, польская леди, не обремененная особенным багажом, кроме швейной машинки в одной руке, чемодана в другой и вещмешка за спиной, сразу с поезда шагнула в первую попавшуюся дверь. Дверь оказалась дверью отдела кадров станции, где ей было немедленно предложено место в охране материального склада, поскольку настоящие стрелки вот-вот должны были покинуть свои посты по мобилизации... Представьте себе, она согласилась с легкостью, которая может показаться даже легкомыслием, однако трезвый, практический ум пани Сварецкой рассчитал получше генерального штаба, что полчища оккупантов движутся по советской земле значительно быстрее, чем ее поезд от Ленинграда на Урал, а стало быть, Красной армии выгнать их до зимы навряд ли удастся, следовательно, ей понадобится зимнее пальто. Выехав из Ленинграда в легкой летней одежде, она не имела и каких-либо особых денег, если не считать свалившихся как с неба ста шестидесяти трех рублей. В последнюю минуту ей успела вернуть долг Софья Валериановна, умудрившаяся найти Марию Адольфовну на перроне Московского вокзала в эвакуационной сутолоке и неразберихе. Принимая предложение инспектора по кадрам станции Кунгур, пани Сварецка соблазнилась не столько возможностью встать под ружье, полагавшееся ей по службе, хотя мысль о том, что ненавистные боши, дойдя до Урала, наткнутся и на ее штык, приятно волновала грудь, – нет, как не волнением, а покоем и уверенностью в завтрашнем дне было сообщение инспектора по кадрам о месте в общежитии и форменной одежде летнего и зимнего образца с удержанием из зарплаты всего лишь пятидесяти процен-



тов ее стоимости. На такой прием, на такую встречу в далекой и несколько чужой земле пани Сварецка рассчитывать не могла. Видя, столько кругом неурядицы, бедности и неурядицы, Мария Адольфовна не ждала и тем более не требовала от властей, запутавшихся в дележе весьма, в общем-то, ограниченных благ, своей доли счастья и благополучия. Судьбой своей в эту минуту и в последующие годы была довольна, а что рассказывать о счастливых людях, только читателей дразнить да раздражать собственную нездоровую печень завистью.

Где-то в середине пятидесятых годов Мария Адольфовна появилась в Ленинграде в синем берете, украшенном эмалевой мишенью со скрещенными винтовками; на удивленный взгляд Тебеньковых, прибывших на тот самый перрон Московского вокзала на этот раз для встречи, Мария Адольфовна пояснила, что в форме чувствует себя на транспорте значительно уверенней.

Жила Мария Адольфовна в Ленинграде у Алексея Андреевича Тебенькова, поскольку он был хотя и не в прямом, но все-таки в родстве с Тильдой Вильгельмовной, а брат Гильды Вильгельмовны, умерший до войны, разумеется, до Первой мировой, был в свое время женат на племяннице мужа сестры матери Марии Адольфовны, то есть, если говорить строго, являвшейся в какой-то мере даже сестрой Марии Адольфовны. И это все свято помнили и принимали Марию Адольфовну у Тебеньковых как родную отчасти и оттого, что дядя Адольф, которого никто из Тебеньковых никогда не видел и видеть не мог, поскольку в 1913 году дядя Адольф в городе Лодзь жил и застрелился, все-таки был женат на племяннице мужа сестры достопочтенной мамы Марии Адольфовны. Примешивалась сюда и иная благодарность – за то, что в 1931 году, когда молодой Алексей Андреевич приехал из Воронежа в Ленинград учиться, жил он, пользуясь не прямым, но все-таки родством, у Марии Адольфовны на Морской, в той единственной комнате, что сохранилась у нее от неплохой квартиры, где жила в свое время одна большая семья. Шесть лет проживал Алексей Андреевич с Марией Адольфовной, можно сказать, бок о бок, пока работал на «Электросиле» монтером, а вечером мотался в Политехнический институт.

Принимали Марию Адольфовну еще и потому хорошо, что дети Алексея Андреевича не видели ни бабушек своих, ни дедушек. Обе бабушки дотянули только до блокады, одна до декабря, другая до февраля, а дедушки умерли еще до войны, и поэтому Мария Адольфовна, с ее пышной шевелюрой, к которой множеством шпилек крепился военизированный берет, с ее старыми манерами, с ее привычкой ко всем обращаться на Вы, с ее неистребимым польским акцентом, вся она была для детей Алексея Андреевича вроде как бабушка. Детям было уже за двадцать, младший умудрился, несмотря на протесты родителей, жениться, но оба сына громогласно утверждали, что обрести бабушку и на старости лет все-таки приятно.

Марию Адольфовну считали в семье вполне своим человеком, поэтому при ней ругались и ссорились, чего при посторонних, как известно, не позволено.

Однажды, когда младший сын очередной раз вогнал мать в слезы, Мария Адольфовна, утешая Клавдию Степановну, у которой все из рук валялось, сказала нараспев:

– Хорошо, что я своих еще маленькими похоронила и слез от них не видела...

То ли для утешения так сказала, то ли пошутила. Детей своих она вспоминала совсем не часто, чрезвычайно редко, как и всю ту жизнь, что едва угадывалась в далеком, довоенном прошлом, а вот бонбоньерку с шоколадом вспоминала часто. Старший брат Марии Адольфовны работал в Петрограде на фабрике «Торн-тон» мастером по крашению тканей. Однажды старший брат пригласил в ресторан Марию Адольфовну, и отца, и мать, и других сестер, и брата Рудольфа. Был обед. А после обеда подали бонбоньерку с шоколадом, и обед этот очень часто вспоминала Мария Адольфовна, гораздо чаще, чем город Лодзь или город Штетин, где семья успела пожить перед войной, перед Первой мировой, разумеется.

Как у Тебеньковых обед хороший да веселый, так она обязательно в конце вспомнит про бонбоньерку, а обеды такие случались у Тебеньковых нередко.

Приезжала Мария Адольфовна в Ленинград нечасто, раз в три года примерно, но жила подолгу, месяца два-три. А последний раз почти полгода. И дело вовсе не в сорока семи рублях пенсии, которая там, в Кунгуре, за три месяца набегала в изрядную сумму, – дело в том, что всякий раз становилось все трудней найти подходящий мотив, причину и объяснение отъезда Марии Адольфовны обратно в Кунгур, в свое родное молодежное общежитие, где вечерами допоздна играют в пинг-понг, смотрят по телевизору передачи из Перми и стремятся утвердить свой музыкальный вкус и права своего музыкального кумира не только у себя в комнате, но и в коридоре и на всем этаже, устраивая соревнования громкости приемников, проигрывателей и магнитофонов, хотя в ту пору магнитофонов было всего два на все общежитие. Жила в общежитии Мария Адольфовна вместе с напарницей, тоже пенсионеркой, в той самой комнате, что была оборудована под жилье самой Марией Адольфовной в конце лета и начале осени 1941 года...

Вообще-то Мария Адольфовна разместилась в общежитии очень хорошо, очень удачно. То есть сначала, как бы временно, ей были предоставлены апартаменты в виде бывшей умывальни, вот уже два года по своему прямому назначению не использовавшейся; превратить ее в жилое помещение тоже не представлялось возможным по причине отсутствия печки, предмета в условиях Южного Урала необходимого. Впрочем, если бы эта умывальня в молодежном общежитии была оборудована как следует, навряд ли из нее удалось бы соорудить очень приличное жилье всего лишь двумя женскими руками в весьма короткий срок. Но умывальня была устроена тят-ляп.

В конце-то концов! Не те времена, чтобы делать тайну из вопроса, почему все-таки закрыли умывальню. Дело в том, что умывален на первом этаже было две, в торцах длинного коридора этого изрядного двухэтажного деревянного здания. И в них с улицы лезли не воры, конечно, а те самые посторонние лица, присутствие которых в стенах и под крышей молодежного общежития категорически запрещено правилами внутреннего распорядка и правилами нравственности. У коменданта, располагавшего всего лишь двумя ногами, причем одна была деревянной, не было возможности драться с наседавшими врагами режима на двух фронтах одновременно. Сначала комендант принял историческое решение – закрыть южную умывалку в порядке временной воспитательной меры, но мера оказалась недостаточно эффективной, и про закрытую умывалку забыли. Пытливому ума читатель, разумеется, спросит, почему же нарушители режима не лезли непосредственно в окна жилых комнат хотя бы первого этажа. Вопрос серьезный. И ответов может быть сразу несколько. Ну, во-первых, в условиях климата Южного Урала окна жилых помещений тщательно заделываются и утепляются на значительную часть года, и открывать их непрестанно – значит попросту рисковать здоровьем всех ради сомнительного удовольствия немногих. Во-вторых, комната, уличенная в нарушении самого основополагающего правила внутреннего распорядка, могла вся разом лишиться права на койку, права на заслуженный отдых после трудового дня; были случаи, когда отправлялись искать жилье в частном секторе целыми комнатами. А в городе, забитом выковырянными, как в шутку назывались эвакуированные, найти жилье и за хорошие деньги было непросто... Иное дело гость, пролезший в окно умывалки! Ему грозит всего лишь изгнание в случае поимки. И никаких санкций на тех, кто, затаив дыхание, ждал гостя.

Не понадобилось ни великих средств, ни огромных усилий, чтобы запущенный чулан превратить в превосходное жилье, даже как бы в отдельную квартирку почти со всеми удобствами. И то, что раньше было недостатком, обернулось значительным достоинством! Например, полы. Полы были деревянные, крашенные, для туалетной – плохо, а для квартирki – клад! Из трех раковин, укрепленных вдоль правой внутренней стенки, действовала лишь одна, первая от двери, что было неудобно в смысле толкучки и очереди, но когда Мария Адольфовна, действуя шведским ключом и небольшим ломиком типа фомки, разобрала и выкинула две недействующие, то первая у двери оказалась совершенно на месте, да еще освободилось место

и для плиты. Набрав на станции цемента из порванных при разгрузке мешков и прихватив ведро песка, предназначавшегося для тормозных песочных паровозов, она за один вечер так заделала стенку, что и следов от утративших свой смысл раковин не осталось. О том же, как появилась в этой части обживаемой территории плита, ходили легенды. И даже в три колена жестяная труба, протянувшаяся от плиты почти через все жилье, способствовала дополнительному обогреванию помещения. Перегородка, сооруженная из отслуживших свое линиях транспарантов «Берегись поезда!», «Хождение по путям опасно!», «За курение на территории нефтесклада – под суд!» и известного высказывания товарища Молотова: «Все дороги ведут к коммунизму!» – была укреплена дополнительной фанерой и оклеена с обеих сторон поверх газет роскошными обоями.

В течение трех недель, что Мария Адольфовна с муравьиным упорством и большевистской решительностью чуланную нежить превращала прямо-таки в хоромы, комендант общежития почти непрерывно участвовал в проводах своих бывших подопечных и постояльцев на фронт и потому трезвым почти не был. Однажды, протрезвев, он вспомнил, что «вохровская тетка», так она числилась в его своеобразной памяти, не устроена и надо что-то решать, нашел ей место в шестикоечной комнатке и со счастливой вестью приковылял к бывшей умывалке. Не веря своим глазам, он обозрел как бы отдельную квартирку из кухни и спальни-гостиной, мгновенно прикинув, что, кроме полагающегося шкафа, можно поставить еще и вторую койку. Тут Мария Адольфовна получила к себе в компаньонки Сусанну Яковлевну, женщину тихую, приветливую и одинокую, занесенную в Кунгур шальным военным ветром. С лица Сусанны Яковлевны никогда не сходила такая как бы полуулыбка, которой она словно просила прощения за свой небольшой горбик, горькой поклажей лежавший на ее узкой спине с раннего детства. Сразу же приняв старшинство решительной и ясной Марии Адольфовны, Сусанна Яковлевна, несмотря на то что была старше Марии Адольфовны лет на пять, взяла безропотно роль младшей сестры. Надо сказать, что комендант, человек совестливый и грубый только по долгу службы, чувствовал себя несколько неуютно, сознавая, что не принял участия в устройстве жилья на территории умывалки, что могло пойти лично ему в плюс как инициатива по уплотнению, и потому хотел внести и свою лепту. Дополнить новое жилье удобствами у него попросту не хватало фантазии, и оставалось только что-нибудь сохранить из того, что еще не было выкорчевано твердой рукой польской леди. Невыкорчеванной оставалась только решетка на окне, та самая многострадальная решетка из арматурной проволоки, множество раз гнутая, отрывавшаяся, прибывавшаяся скобами и барочными гвоздицами, вареная-перевареная... «Нас не укрядут!» – ударяя на «а», сказала Мария Адольфовна, требуя снять решетку. Комендант не оплошал, он плотно подступил к Марии Адольфовне, резко оглянулся на притихшую на своей койке Сусанну Яковлевну и, почти не разжимая губ, быть может, только для того, чтобы сдержать предательский дых, зловеще произнес: «До особого распоряжения...» Это признание можно было понимать многообразно: то ли комендант ждал на этот счет указаний из далекой Москвы, то ли из местных органов, громко, вслух не именуемых, то ли намекал на особые мотивы, связанные с подселенной жиличкой, – в общем, это был тот самый голос и тон, который безошибочно позволял каждому понять значительность сказанного и самому подобрать объяснение для любой, даже ляпнутой с полухмеля глупости. Зная, что «такое» зря не говорится, Мария Адольфовна с решеткой смирилась, а после того как в общежитие трижды проникали уже не романтические поклонники юных затворниц, а самые натуральные расконвоированные эки, в немалом числе объявившиеся в Кунгуре, вопрос о решетке на окне первого этажа Марией Адольфовной и Сусанной Яковлевной, разумеется, не поднимался...

Служба в вооруженной охране, имея в виду многие ее преимущества, не особенно тяготила Марию Адольфовну; относясь к любому делу серьезно и уважительно, сознавая его необходимость в общей цепи человеческих забот, в чем в полной мере обнаруживала себя подлинно европейская традиция, она сравнительно легко привыкла к своему положению...

У Тебеньковых жалели, что Мария Адольфовна так далеко живет одна, и все время говорили, чтобы она переезжала в Ленинград, но все было сложно. Бурный и прямой Алексей Андреевич, как и подобает руководителю его ранга, так прямо и объявил: «Ну что вы там, в своем общежитии, сидите, смерть поджидаете?!» Мария Адольфовна только смеялась.

Комната на Морской, где она жила до войны и где квартировал в свое время юный в ту пору Алексей Андреевич, во время войны пропала. Дом уцелел, а комната пропала. Вернуться после эвакуации, вернуться все-таки без ленинградского паспорта. Стало быть, сначала надо выхлопотать паспорт. Потом хлопотать о площади, о прописке, – это какое же надо иметь здоровье, или какие деньги, или хотя бы знакомства. Ни первого, ни второго, ни третьего у Марии Адольфовны не было. А чтобы прописаться у Тебеньковых, хотя площадь и позволяла, нет оснований. Не скажешь начальнику паспортного стола, что муж племянницы мужа сестры Гильды Вильгельмовны, дядя Адольф, был прекрасный человек, хотя и застрелился в 1913 году в городе Лодзь. Сначала Мария Адольфовна побаивалась подолгу жить без прописки у Тебеньковых, а в последний раз зажилась. Немалую роль в этом продолжительном гостевании, конечно, играла Клавдия Степановна. В хронике Тебеньковых, изобилующей семейными кризисами разного масштаба и полета, середина шестидесятых годов будет обозначена как эпоха «игры вслепую». Игра эта не имеет ничего общего с шахматами, так как там все просто, нужно иметь хорошую память и помнить свои ходы и ходы соперника. В этой же игре, что вела Клавдия Степановна, ей приходилось делать ходы, не зная наверняка, что там еще совершил или только еще собирается совершить, какой еще ход сделает ее размашистого нрава супруг. Семейные узы, скрепленные детьми, сильно ослабели, после того как дети выпорхнули из родительского гнезда, один к жене, другой на недалнюю стройку, где-то на Свири, соблазненный не столько перспективами инженерного роста, сколько возможностью отдохнуть от семейного деспотизма. Дом как бы опустел. И как ни старалась Клавдия Степановна заполнить его праздниками выдуманскими и настоящими, как ни старалась нагрузить и самого Алексея Андреевича заботами по благоустройству и совершенствованию среды обитания, даже приобретение «Москвича-стиляги», съедавшего немало свободного времени Алексея Андреевича, не давало Клавдии Степановне возможности чувствовать себя спокойно. В сущности, Клавдию Степановну ее природное чутье и на этот раз не подвело, когда она рассудила, что старики могут вполне заменить детей, если рассматривать их как элемент крепления семейных чувств.

Нельзя поручиться, что именно этими словами, именно так понимала Клавдия Степановна сложившуюся к середине шестидесятых годов ситуацию. Но разве дело в словах?

...Был чудесный июньский день, ему предшествовало прекрасное утро, обещавшее исключительно хороший денек и, надо сказать, сдержавшее свое обещание.

Клавдия Степановна, человек, убежденный в том, что ленинградцы, в отличие от прочего человечества, есть люди, исполненные тонких чувств и, главным образом, тонких предчувствий, в это утро еще раз подтвердила верность своим убеждениям. Какое-то – зачем какое-то? – именно ленинградское предчувствие подсказало ей завидной решительности поступок.

– К черту обед! – сказала эта женщина, в общем-то Бога побаивавшаяся и задабривавшая его куличами. – К черту кастрюли! Конца всему этому не будет... Такой день, солнце... Поехали на Острова? Вернемся – что-нибудь сообразим по-быстрому. Я думаю, рыбу возьмем на углу Куйбышева и Чапаева, а сосиски купим у нас в гастрономе.

– Леша просил воротничок на двух рубашках переставить, – нараспев и даже сердито сказала Мария Адольфовна. – Как же я могу ездить на Острова?

Прожив всю жизнь среди русских, Мария Адольфовна все-таки ударения во многих словах ставила по-своему, и потому речь ее была всегда особенной.

– Хватит этой каторги! – помолодев от собственной решительности, сказала Клавдия Степановна. – Едем!

Если бы Клавдия Степановна стала и дальше убеждать Марию Адольфовну в необходимости отдохнуть и развеяться, то навряд ли она одержала бы верх. Но она просто скинула шлепанцы и решительно пошла причесываться к зеркалу. Мария Адольфовна, что-то сердито ворча под нос, но достаточно неразборчиво, чтобы не завязалась дискуссия, тоже приступила к сборам.

Поездка на Кировские острова, излюбленное место отдыха трудящихся, была бы вполне симпатичной прогулкой двух беглецов с домашней каторги, если бы с самого начала поездке этой не сопутствовала излишняя доля деловитости, ощущение смелости и дерзости предприятия, не покидавшее Клавдию Степановну.

Будь я живописец и будь у меня под рукой холст и порядочные краски, мне не составило бы труда в этом месте написать картину, отражающую именно то настроение, каковым необходимо проникнуться читателю хроники, прежде чем он окажется на Кировских островах. Впрочем, нет нужды тужить об отсутствии красок, холста и умения делать картины, необходимая картина уже сделана и принадлежит кисти художника И. Левитана, называется «Золотая осень» и известна по множеству репродукций как на изделиях фабрики «Северное сияние», так и на изделиях фабрики имени Микояна. Почему же трамвайная остановка на пыльном проспекте, клубящийся в жаре каменный город, грохотом и зноем напоминающий цех железодельного завода, должен навевать чувства, запечатленные на картине «Золотая осень»? И дело происходит в июне...

Взгляните сами: солнце залило горячим светом весь город и всю природу, а две женщины, одна просто пожилая, а другая даже очень пожилая, чтобы не сказать старая, словно разом помолодев, бросились к солнцу, и безумное предчувствие счастливой будущности засияло им вдруг радужными цветами... А когда уставшая жить без надежды природа встречается с солнцем, ярким и щедрым, и радуется этой встрече, душа как раз и наполняется настроением, столь счастливо высказанным на картине И. Левитана «Золотая осень».

По садам и дворам отцветала спасшаяся и уцелевшая в городе черемуха, оставляя на газонах и тротуарах белые наметы. Наблюдавшееся к этому времени в мире животных отставание в сроках прилета насекомоядных уже стало выправляться. Это были последние годы гнездования ласточек-касаток в городе; не умея добыть себе и детям корм вверху, они носятся в поисковом полете низко над землей, где и находят свою единственную пищу – насекомую летучую мелочь.

Излишне чувствительные к загрязненному воздуху и особенно выхлопным газам, уже в последующие дватри года касатки покинули город, переселившись в окресные поселки окончательно, и больше не тревожили душу своим стремительным безудержным полетом над Марсовым полем, над могилами борцов, павших за лучшую жизнь.

Округлый мысок, разделяющий устье Средней и Большой Невки, именуется, как и множество подобных мысков, Стрелкой, но именно этот мысок обладал в представлении сверстников как Марии Адольфовны, так и Клавдии Степановны каким-то особым, неизъяснимым свойством.

Живописная панорама расстилалась перед достигшими Стрелки горожанами: прямо вид на море. Вернее на мелководный залив, именуемый Маркизовой лужей в память об одном из титулованных командующих Балтийским флотом, предпочитавшим держаться недалеко от города акватории; кабельтовых в семи-девяти на траверзе Кронштадта можно было наблюдать земснаряды, перегоняющие песок со дна залива в Лахту, череду столбов линии электропитания, тянувшихся через мелководье, а еще дальше темные силуэты теряющихся в солнечном мареве фортов; слева открывался вид на обширные в ту пору пустыри левобережья Средней Невки, вправо же вид на Большую Невку, шириной уступающую и Средней, и Малой, и лесопилку с высоченной жестяной трубой, носившую еще на памяти Клавдии Степановны имя Алексея Рыкова...

Трудно все-таки объяснить, почему истинный ленинградец, побывав именно на этом месте, уходит отсюда отдохнувшим, посвежевшим и приобщившимся даже к чему-то большему, чем природа, – красоте и поэзии...

– Володя! – крикнула Мария Адольфовна.

И если сутулый гражданин с палкой в руках, семенивший мимо украшавших Стрелку каменных львов, еще не слышал этот крик, нам надо вернуться к началу хроники и проследить последующие события со всем вниманием.

– Володя! – снова крикнула Мария Адольфовна, очень кругло произнеся оба «о».

Наконец Владимир Петрович догадался, что Володя – это все еще он, и подошел к дамам. Он был несказанно рад, встретив Марию Адольфовну и Клавдию Степановну. Клавдию Степановну он до этого не знал и был представлен.

Разговор людей, не видевшихся почти двадцать лет, очень интересен, и его легко представит каждый. Значительно важнее сказать о том, о чем не говорилось.

С какой стати стал бы Владимир Петрович напоминать Марии Адольфовне в первые минуты встречи, радостной и неожиданной, как игравали они в четыре руки! Игры эти как раз и послужили основанием для предложения со стороны Владимира Петровича и дальше играть вместе до конца! своих дней;

в 1934-м он сделал овдовевшей Марии Адольфовне предложение, был настойчив и жил надеждой, пока в 1936-м не услышал заветное «да». А когда он приехал к Марии Адольфовне на Морскую, чтобы сопровождать ее в загс, произошло следующее.

Незадолго до прихода жениха Мария Адольфовна, утомленная всеми хлопотами приготовления, а разделить эти хлопоты уже тогда было некому, прилегла и уснула. Она проснулась от робкого, но настойчивого стука в дверь. И робость этого стука все и решила. Она в ту же минуту представила себе Владимира Петровича, от робости поклоняющегося всем богам, а пуще всех диете.

Ей показалось, что в дверь постучалась старость.

– Володя, я хочу спать, зайди как-нибудь в другой раз, – сказала Мария Адольфовна и захлопнула дверь, лишь на секунду задержав взгляд на улыбке, которую принес ей Владимир Петрович. Улыбка была такая, будто ее взяли напрокат или купили в магазине подержанных вещей. Мария Адольфовна даже успела представить за эту секунду, как нес Владимир Петрович эту улыбку по улице, поднимался по лестнице, боясь уронить с лица, благодарил соседей, открывших дверь, вот этой же самой улыбкой... Быть может, если бы не эта улыбка, она вышла бы за него замуж и не захлопнула бы дверь, ведущую к счастью. Но она согласилась, дала согласие именно тогда, когда огорченный ее долгим упорством Владимир Петрович вдруг перестал улыбаться вот так. Она, конечно, не сказала ему об этом. А теперь она просто закрыла дверь и уснула, как человек, сделавший важное и большое дело.

Потом они снова встречались и были друзьями до самой войны. И Владимир Петрович провожал Марию Адольфовну из Ленинграда в 1941 году в Кунгур и нес швейную машинку. Он несколько раз пытался возобновить переговоры о супружестве, но Мария Адольфовна была непреклонна.

Теперь самое время рассказать о Владимире Петровиче, он заслуживает того, чтобы о нем было составлено правильное представление. Прежде чем мы увидим его во всем размахе его жестокого поступка. Тем более что найти достоверное описание Владимира Петровича, кроме как в этой семейной хронике, пожалуй, и нигде. Отрывочные сведения, хранящиеся то там то сям о каждом из нас, не дадут основания для сколько-нибудь правильного суждения об этом человеке, способном бог знает на что.

А собственно, что за нужда знакомиться с каким-то Владимиром Петровичем?!

Владимир Петрович представляет безусловный исторический интерес как человек единственный в своем роде, чья душа была подвергнута идеальной обработке молотом социальных

бурь на наковальне эпохи. Ну и разумеется, Владимир Петрович представляет безусловный интерес в рассуждении о жестокости.

Редкий ветеринарный врач за свои тридцать-сорок лет службы не удостоивался в шутку или всерьез имени сказочного доктора Айболита, рожденного доброй фантазией знаменитого поэта, и только Владимир Петрович ни единого разу не услышал о себе такого, уж очень он был лишен и респектабельности, и энергии, и бьющей через край воли, черточек, из которых скроен и слеплен, быть может, самый привлекательный образ ветврача в мировой литературе. Надо думать, животные испытывали безусловное удовольствие от общения с Владимиром Петровичем: те, что позлей, понимали, что им не составит труда его загрызть или забодать, звери же смиренного нрава видели во Владимире Петровиче столь безобидное существо, что и зла от него совершенно основательно не предполагали.

Исцеление больного животного не вызывало в нем воодушевления, прилива сил, приступов самолюбия и веры в свои немалые способности, напротив, всяческое счастливое обстоятельство он рассматривал всего лишь как удачное избавление от возможных неприятностей.

Бессловесную тварь он понимал лучше и легче, чем людей; вся наша шумная прекрасная жизнь производила на него впечатление не то чтобы оглушающее, но вводила в состояние, близкое к оцепенению. Всякий громко разговаривающий человек уже был для него начальником, а способный наорать и изматерить в правах на его робкую душу мог сравняться с самим Господом Богом! Свою же доброжелательность, снисходительность и мягкий нрав, какого только и можно пожелать от истинного петербуржца, еще не подвергнутого обработке историческими катаклизмами, он частично распространял на женщин, каковых робел меньше, потому и терпел от них меньше; по большей части все добродетели своей души и немалый опыт он изливал на своих четвероногих пациентов.

Приветливость Владимира Петровича, что отлично замечали даже его пациенты, была окрашена легкой тенью пришибленности, отчего производила впечатление несколько болезненное. Но это только на первых порах, потому что Владимир Петрович умел как-то так убраться, как-то так уничтожиться, что и вовсе становился незаметен, и уже никакие его проявления не способны были привлечь к нему чье бы то ни было внимание. О нем помнили, но не замечали.

Фигура Владимира Петровича, в основном недурно сложенная и не лишенная приятных линий в результате воздействия как внутренних, так и внешних стихий, ясность форм утратила и нажила некоторую неопределенность, какую-то гуттаперчевую мягкость. Волосы он носил свои собственные, за ушами стремившиеся расти почему-то горизонтально.

По-видимому, вследствие многолетнего ношения ветеринарного колпака. В одежде он был скромен и нарядов броских, обращающих на себя внимание роскошью или каким-нибудь неожиданным фасоном, не носил, за модой практически не гнался и не однажды приобретал довольно приличные костюмы универсального в смысле моды покроя в магазинах подержанных вещей, справедливо находя это целесообразным и с личной точки зрения, и с точки зрения общественной экономии. Не терпя праздности и поглощенный с утра до вечера житейской суетой, освященной некоторой внутренней значительностью, Владимир Петрович день заканчивал рано и уже вскоре после девяти часов всячески стремился ко сну. Охоту, азартные игры, скачки и собственно верховую езду он не любил, хотя мог больной лошади и даже здоровой оказать массу всевозможных услуг.

Надо заметить, что скорее всего врачом Владимир Петрович был замечательным, но животные об этом сказать не могли, а работу свою он облакал в форму такого молчаливого услужения бессловесным тварям, что хозяева исцеленных зверей никак не решались воздать должное его искусству. В подтверждение сказанного можно привести случай с утробной водянкой. В Парголово на улице Жданова никак не могла растелиться старая черная корова, которой впрямь не под быка идти, а под нож. Полночи приглашенные хозяйкой солдаты-строители,

уже не раз оказывавшие разного рода ценные услуги, таскали оравшую, как пароход в тумане, корову по полу хлева, таскали за голову появившегося и даже дышавшего теленка. Голова вышла, а дальше ни в какую! Бывает. Редко, но бывает. Промучившись полночи, послали за Владимиром Петровичем в Озерки. Он прибыл и установил редчайший случай – теленок в утробном состоянии заболел водянкой, разбух и выйти смог лишь благодаря немалому искусству и сообразительности Владимира Петровича. Теленка, естественно, спасти не удалось, но поначалу ни злополучная роженица, ни ее хозяйка не могли поверить в свое счастье...

А уже минут через двадцать ему пришлось слушать совершенно несправедливые упреки в том, что теленок не был спасен, что корова теперь не скоро придет в себя, что к началу отела Владимир Петрович мог бы сам догадаться и приехать, а главное, что не предотвратил и не предсказал этой самой водянки заранее, хотя за месяц назад к черной корове был приглашаем... Другой лекарь тебе палец йодом помажет, а ты уходишь от него переполненный по гроб жизни благодарностью чуть ли не за спасенную жизнь. За возвращенное здоровье и как бы гарантированное место в царствии небесном. А другой... Да что о других говорить, их почти и не осталось, и Владимир Петрович вовсе, может быть, из последних.

Обращаясь назад, мы застанем Владимира Петровича стоящим с сильно бьющимся сердцем и прерывавшимся вдруг дыханием, ввергнутым на какие-то недолгие мгновения именно в то самое состояние, в каком он пребывал тридцать лет назад почти два года кряду. Это был узанный им самим отзвук самозабвенной страсти, имя которой любовь.

Они замерли все трое, стараясь не спугнуть очарования этой минуты преждевременными речами.

Серая домашняя кошка вышла из-за куста шиповника, огляделась и с хозяйской деловитостью потрусилась невесомой походкой по кремнистой прогулочной дорожке в сторону замерших на пьедесталах львов, лишь поравнявшись с Владимиром Петровичем, смотревшим на Марию Адольфовну и улыбающимся, перешла на галоп и в несколько прыжков оказалась на широкой спинке каменной скамьи.

Недолгое юношеское предвкушение жизни еще в ранние лета Владимира Петровича было окрашено тревогой, связанной с неудачным социальным происхождением, тускло и робко прошли последующие года; дожив до семидесяти, он так и не успел полюбить эту жизнь, полную интриг и ловушек, расставленных для каждого из нас на пути к могиле.

Ну что бы вам, Владимир Петрович, сбросить все, что мучит и угнетает, нет чтобы хоть за минуту до конца закрыть глаза на сумятицу и неразбериху этого мира и полной грудью вдохнуть неземную радость. Он еще никогда не был так близок к тихим радостям домашнего уюта и покоя. Воплощенная мечта уже была готова поднять его на своих сладостных крылах, однако... Воспоминания коснулись всех струн его души, но ни одна не отозвалась тотчас желанием счастья, больше того, природа не зывала его к женитьбе. И тусклые ее звуки едва касались сердца и уже не приводили в движение уснувшие чувства. Природа беззвучно подсказывала ему, что сил осталось лишь на то, чтобы поддержать жизнь, а счастье... Что счастье?..

Они заговорили, перебивая друг друга, но бурная вспышка, обещавшая бесконечные рассказы и расспросы, ни рассказами, ни расспросами не разрешилась, поскольку, в сущности, никто не знал, о чем говорить.

В какой-нибудь час они рассказали друг другу почти все, что могли рассказать. Не могла же Мария Адольфовна вот так сразу обрушить на Владимира Петровича рассказ о событии, быть может, самом ярком и значительном в истекшие годы, о том, как десять лет назад сотрудники материального склада вместе с отрядом вооруженной охраны провожали на заслуженный отдых работника вооруженной охраны, шестидесятилетнего стрелка, служившего долгие годы примером в труде и общественной жизни. И дело совсем не в том, что слог у Марии Адольфовны недостаточно красочный, просто она даже сама удивилась, как быстро кончился ее рассказ об этих долгих и утомительных годах приуральской жизни. Не могла она вот так



вот сказать о том, как именно ее вкус, а в еще большей мере ее немалый авторитет помог вырваться из захолустной безызвестности даровитому ныне художнику Аркадию Михайловичу Р. Два года, живя в общежитии, писал он картину «Штурм» красками и маслом. Центральное место в картине занимал невиданных размеров краснозвездный танк, которого одного было бы достаточно, чтобы сокрушить все остальные танки на свете, над танком развевалось победоносное знамя, а за ним летели солдаты, почти не касаясь брезентовыми сапогами образца сорок первого года брустверов вражеских окопов, солдаты с лицами обитателей железнодорожного общежития. На глазах Марии Адольфовны девятнадцатилетний Аркадий Михайлович Р. преодолел ограничительные рамки гиперболического реализма и поднял кистью художника материал и тему картины до высот эпического гротеска. Вокруг картины «Штурм» не утихали страсти. Комендант общежития довольно быстро уловил веяния времени и понял, что глубинное понимание искусства состоит в умении запрещать. Он сказал, что в комнате отдыха никогда не будет висеть эта насмешка над нашей победой. Причина же подлинная была в другом; один из убежавших немцев, хотя и был изображен со спины, был неотличимо похож на коменданта. Немец заваливался вправо и, должно быть, лишился в этом бою если не жизни, то как минимум правой ноги...

Присвоение власти, ему не принадлежащей, было маленькой слабостью коменданта общежития, а может быть, и характерной для эпохи чертой, заимствованной комендантом у персон такого полета, таких высот, куда ему с его деревянной ногой было и не взлететь никогда в жизни. Пребывавшие в разного рода зависимости от него обитатели общежития робели защищать картину «Штурм», только Мария Адольфовна нашлась и сказала, что Аркадий израсходовал почти все краски, что были выписаны на культурно-воспитательную работу в общежитии, и если картина не будет висеть на видном месте, то отчитаться в израсходованных красках будет невозможно. Доводы подействовали на коменданта, и он уступил. А буквально через год выписанный из Москвы настоящий художник, расписывавший клуб железнодорожников, увидев «Штурм», пригласил Аркадия Р. к себе в помощники, а потом и вовсе увез в Москву и вывел на большую дорогу монументальной живописи...

Владимир Петрович сидел на скамейке, подвинув к Марии Адольфовне свое лицо с той самой улыбочкой, которой, видно, сносу нет, той самой, за которую, не ведая того, расплачивался и по сей день, он рассматривал большое рыхлое лицо своей бывшей невесты сквозь выпуклые стекляшки круглых очков. Стекляшки в очках были покрыты такой сеткой царапин и мутных пятнышек, что и зрячий-то через них ни шиша не увидит. А Владимир Петрович рассматривал Марию Адольфовну досконально, даже головой двигал и почти ничего не слышал, потому что, когда Мария Адольфовна сказала, что навещается к Алеше Тебенькову уже не первый раз и живет чуть ли не четвертый месяц в гостях, скоро уж и домой ехать пора, он вдруг высказался:

– Нехорошо, Маша, что ты так далеко уехала, надо тебе в Ленинград переезжать.

Потом он стал рассказывать про свои болезни, расспрашивать про болезни Марии Адольфовны, подробно рассказал, при какой болезни какая нужна диета. В этом месте разговора приняла живейшее участие Клавдия Степановна, лишь улыбающаяся до этой поры. Сошлись на том, что кефир хоть и простая вещь, но всегда хорош, только что не от радикулита. Владимир Петрович привел несколько очень удачных цитат из Ильи Ильича Мечникова.

Позднее состоялся визит Владимира Петровича к Тебеньковым, и он в шесть вечера говорил о том, что на ночь есть вредно. Спрашивал, есть ли в винегрете постное масло, и, узнав, что таковое там имеется, печально улыбнулся, очень печально. Со скорбным выражением лица съел винегрет. Когда приступал к рыбе, которая тоже оказалась жаренной на постном масле, рассказал о вреде жареной пищи. Рыбу тоже съел, но чай пил принципиально без сахара.

Визит Владимира Петровича счастливо совпал с прибытием под родительский кров обоих сыновей: старший сбежал со стройки в какую-то выдуманную командировку, чтобы

отдохнуть от холостой жизни, младший, очередной раз поругавшись со своей юной женой, примчался отдохнуть от жизни супружеской.

Дети потом еще долго играли во Владимира Петровича, третируя мать постным маслом, разговорами о диете и вспоминая услышанное от Владимира Петровича: «Очень вам кланяюсь...»

Визит Владимира Петровича оставил прочный след в памяти Клавдии Степановны, более того, именно во время этого визита Клавдия Степановна, пораженная внезапно явившейся ей мыслью, побледнела и ничем более не выдала своего волнения. Сначала ей самой нужно было свыкнуться с явившейся мыслью, а потом уже приручить к ней и Марию Адольфовну.

В домашних разговорах, непрерывно шедших между двумя женщинами, все больше и больше места стали занимать вопросы брака, Клавдия Степановна не однажды говорила о том, что к браку, замужеству и женитьбе, нынче относятся совсем не так, как в прошлые времена, с чем Мария Адольфовна спешила согласиться. Клавдия Степановна привела немало примеров даже вовсе фиктивных браков, где супруги соединяются только на бумаге, как бы в глазах государства, а в действительности ничего подобного не происходит. Мария Адольфовна слушала эти рассказы примерно с таким же ужасом и искренним состраданием, как рассказы о столкновении трамваев или об упавшем в Фонтанку троллейбусе. Каково же было удивление Марии Адольфовны, когда она сначала почувствовала, а потом и вовсе поняла, что Клавдия Степановна как бы совершенно снисходительно взирает и даже почти что проповедует легкомысленное отношение нынешней публики к вопросам супружества и брака. Она далее не поверила своему наблюдению, но Клавдия Степановна была настолько определена, что для сомнений уже не оставалось места.

– Клава, я знаю, сколь трудно вам было сохранить семью, – сказала Мария Адольфовна, делая ударение на «е» в слове «семья». – А нынче семья только для удовольствия, кончилось удовольствие – кончилась семья.

– Конечно, мы люди другого поколения, – спешила оправдаться Клавдия Степановна, – а нынче смотрят на все это значительно проще.

– Не надо смотреть значительно проще, – убежденно сказала Мария Адольфовна. – Проще, чем у нас в общежитии, нигде не бывает, это скверно, так плохо...

Немалые усилия, потраченные Клавдией Степановной на попытку то ли расшатать консервативно настроенную Марию Адольфовну, то ли привить ей зеленые побеги современной морали, оказались совершенно излишними. То, к чему Клавдия Степановна так долго, трудно и безуспешно подбиралась, решилось само собой.

Когда Мария Адольфовна рассказывала Тебеньковым свою историю с Владимиром Петровичем, не находя, впрочем, убедительного или даже сколько-нибудь подробного объяснения своему отказу от руки и сердца Владимира Петровича, она сама назвала его несколько раз «вечный жених». Действительно, потерпев сокрушительное поражение в соискании руки Марии Адольфовны, Владимир Петрович более подобных попыток не повторял и женат ни разу не был.

Однажды под праздник Мария Адольфовна вдруг сказала сама: «Надо жениха позвать...» – что говорит о ней не только как о человеке, способном к состраданию и деятельному сочувствию, но и как о человеке с юмором, а в семьдесят лет человека с юмором встретишь реже, чем с добротным сердцем или хорошим кровяным давлением.

И вот уже без обиняков, но на всякий случай как бы между прочим во время мытья посуды после завтрака Клавдия Степановна бросила вскользь давно уже вызревавшую в ней мысль:

– Мария Адольфовна, вам надо с Владимиром Петровичем зарегистрироваться...

Мария Адольфовна безмолвно сметала крошки со стола специальной гнутой щеточкой на плоский прямоугольный подносик.

Нетерпение Клавдии Степановны было так велико, что она даже не смогла выдержать подобающую случаю паузу, на худой конец хотя бы подкрепить сказанное соответствующим выражением лица или позой глубокой задумчивости; она повторила свое предложение с азартом непринужденности.

– Да не кричите, – строго сказала Мария Адольфовна, хотя Клавдия Степановна, видит бог, и не собиралась кричать.

Не думая о прошлом и предоставив будущее воле провидения, Мария Адольфовна умела сосредоточиться на каждом предстоящем деле, поступая согласно разумению и правде, не ведая о том, что прекрасное безумие и есть прекрасная жизнь, как уверяют люди, надо полагать, отведавшие и того и другого.

Подозревая в молчании Марии Адольфовны зреющий отказ, Клавдия Степановна, стремившаяся всегда по мере сил направить судьбу по верному руслу, стала подробно и очень убедительно разяснять вопрос с пропиской.

Факт регистрации даст возможность прописаться у Владимира Петровича, а жить, разумеется, у Тебеньковых. Формальные строгости, существующие на этот счет, можно вовсе не принимать во внимание, потому что вот уже два года младший живет у жены, прописан здесь, и ни одному человеку в голову не приходит задавать на этот счет какие-либо вопросы. Единственная, совершенно единственная сложность – да и можно ли ее считать сложностью? – это участие в выборах, в голосовании. Здесь выявляют граждан и вносят в списки по месту прописки, но и это необязательно, поскольку достаточно взять открепительный талон – и можно вовсе не голосовать, не причиняя, таким образом, никаких беспокойств тем, кто призван судьбой и долгом обеспечивать изумительный процент участников голосования повсеместно. Тут же Клавдия Степановна пояснила, что за талоном этим даже ездить необязательно, его с удовольствием выдадут Владимиру Петровичу по первому же требованию с большой охотой.

– Вы устали... Ну сколько можно – общежитие и общежитие? Что вам этот Кунгур, наконец? Хорошо, а заболете? – Клавдия Степановна даже сама удивилась очевидности и несокрушимости всех резонов за переезд в Ленинград.

– У нас хорошая больница, железнодорожная, – наконец произнесла Мария Адольфовна, тяготясь невозможностью вступить в разговор по существу и понимая необходимость хоть что-то сказать.

Всю жизнь совершая поступки лишь сообразно своему представлению о должном и невозможном, Мария Адольфовна совершенно бессознательно получала в награду покой, душевное равновесие и согласие с самой собой... Предложение же Клавдии Степановны, не такое уж и неожиданное, отозвалось неуловимым беспокойством, разговор даже чем-то был неприятен, но протест, всегда готовый вырваться наружу легко и просто, как клич: «Стой! Кто идет?!» – на этот раз не находил себе опоры, и потому ничего не оставалось, как уйти в себя, но и уйдя в себя, она не нашла там привычного покоя и согласия.

Те энергия, энтузиазм, даже страсть, с которыми за дело взялась Клавдия Степановна, как бы отодвигали саму Марию Адольфовну от необходимости думать о себе, от необходимости самой совершать поступки, принимать решения, произносить слова, проявлять инициативу, то есть быть самой кузнецом своего счастья.

Прежде чем выразить свое согласие, Марии Адольфовне нужно было найти ответ на самый главный вопрос: не обернется ли вся эта затея для Тебеньковых какой-нибудь неприятностью, досадой, стеснением и не поставит ли ее, человека, привыкшего к независимости, в положение неудобное и непривычное?

Как известно, одной из высших форм, одним из высших свидетельств не только любви, но и симпатии, расположенности, уважения, доверия – даже прежде всего доверия! – в современной жизни служит согласие на прописку кого-либо на свою жилплощадь. Каждый из нас, не говоря о крупных и видных специалистах по современной семье, назовет немало примеров

того, как супруги, пройдя все стадии испытания чувств вплоть до венчания в загсе, не спешат тем не менее прописывать друг друга на свою жилплощадь, а прописав, иной раз долго и искренне в этом раскаиваются.

Мария Адольфовна отчетливо понимала, что с этой стороны Клавдия Степановна ничем не рискует и приведенный в исполнение замысел никаким бременем ни на кого не обрушится.

Ни Владимир Петрович, ни Алексей Андреевич, посвященные в созревший план, не высказали никакого сомнения в его реальности и необходимости. Да и кому бы в голову пришло щепетильничать, когда именно эту пору можно будет назвать порогом эпохи, давшей небывалый толчок и небывалый повсеместный расцвет обывательского творчества и самых разнообразных поступков мелкоуголовного характера; эпоха, над которой еще предстоит задуматься, последствия которой еще предстоит осмыслить, делала лишь первые энергичные шаги. Живя всю жизнь под чужую дудку, Владимир Петрович научился, как и все мы, вытанцовывать самые что ни на есть фальшивые пассажи, а Алексею Андреевичу, имевшему дело с экономикой, обретающей все более и более романтический характер, удивляться невинной прописке Марии Адольфовны к Владимиру Петровичу и в голову не пришло.

Эпоха требовала все больше и больше блеска, шума и величия, чтобы скрыть бурно пробудившуюся к жизни самодеятельность нетерпеливых, не веривших ни одной секунды в приближение всеобщего благоденствия и положивших немалые усилия своих оборотистых душ на благо своих близких, дальних, родных и милых. Прodelки вельмож, призванных к общественному служению в ту пору, уже заполняют страницы и тома иных хроник, нам же необходимо отметить, что именно в это время авторитет родства, а стало быть, и семьи, необычайно возрос. Немалое значение в этой связи стали придавать и самому акту вступления в брак.

Дворцы бракосочетаний еще только вызревали в умах ответственных мужей, а уже комнаты в исполкомах, где чохом вершились записи актов гражданского состояния, украсились четким расписанием времени, когда записывают рождение, когда бракосочетание, а когда и, так сказать, последнее гражданское состояние. Само время породило и поставило в повестку дня вопрос о торжественной регистрации бракосочетаний. Идя навстречу пожеланиям большинства новобрачных украсить свадебный стол хорошей пищей да и самим приодеться по возможности в импортное, словно по волшебству открыли специальные магазины, куда, кроме родных и знакомых работников этих магазинов, впускались по специальным талонам новобрачные и самые приближенные к ним лица. Талоны выдавались при подаче заявлений.

Продовольственный салон в ту пору размещался на Литейном проспекте, в помещении неказистом, ныне занятом безалкогольным кафе «Гном», и имевшее место его посещение навряд ли представляет исторический интерес, куда интересней было бы побывать в роскошном гастрономе «Стрела» в доме «Помещика» на Измайловском проспекте, где сегодня вершится таинство распределения продуктов для свадебных торжеств. Куда более важным моментом предлагаемой семейной хроники является поход будущих супругов в сопровождении непременной Клавдии Степановны в загс Выборгского района, где были поданы соответствующие заявления и дело приобрело характер государственного события.

Тайные, скрытые от глаз механизмы, а может быть, просто причуды человеческой природы порождали в ту эпоху самые неожиданные поступки, изумлявшие своей откровенной странностью.

Мария Адольфовна, как ни крути, тоже человек своего времени и потому немало удивила Клавдию Степановну тем, что не только с неожиданной легкостью согласилась расписаться с Владимиром Петровичем, но даже несколько торопила совершение этого акта.

Тайный механизм женского сердца! В какой свадебной истории ты не придашь событиям тот неожиданный, непредсказуемый, волнующий ход, без которого и сама свадьба да и сама жизнь была бы пресна и ординарна, как женщина без загадки, без тайны, без тревожащей душу способности взглянуть и на привычный предмет особенным образом! Ни Владимир Петрович,

ни Клавдия Степановна не были, разумеется, посвящены Марией Адольфовной в тайную причуду, заставлявшую ее подгонять события.

Все дело в возрасте – и вовсе не в уходящем неведомо куда времени, истекающем стремительно и непрерывно, а в том, что Мария Адольфовна и Владимир Петрович были ровесниками, но... совсем непродолжительное время, всего лишь три месяца! Да, да...

Вступаете ли вы в вооруженные силы, идете ли на прием к врачу или фиксируете свое новое гражданское состояние, государство интересуется в этом случае вашим возрастом лишь в округленно взятом количестве прожитых лет, во многих анкетах есть даже такая графа – «Полных лет»... Чем полных?... Мария Адольфовна была при строгом рассмотрении вопроса ровно на девять месяцев старше Владимира Петровича, и, зная, что придется заполнять анкетку и все указывать, ей хотелось, чтобы в графе «Возраст» или «Полных лет» и у жениха, и у невесты стояли одинаково круглые цифры «70». Имея день рождения на яблочный Спас, в середине августа, Мария Адольфовна хотела шагнуть своим не утратившим, слава богу, твердости и выправки шагом под венец непременно со своим ровесником, для чего все надо было оформить до 19 августа.

Заявления были поданы 1 июля, и по всем статьям, даже с учетом месячного испытательного срока, отпускаемого государством для проверки вспыхнувшего чувства и серьезного осмысления предстоящего шага, даже со всеми проволочками можно было расписаться до 19 августа.

Принимая заявления, бесполоая барышня лет тридцати двух – тридцати шести почти без интонации разъяснила невозможность ни поторопить, ни ускорить день регистрации, она говорила, привычно глядя куда-то в окно, где шли по тротуару оживленного проспекта, изобилующего заводами и фабриками, молодые, средних лет и солидные мужчины, в известной части, разумеется, неженатые, сюда же, в тесные ее апартаменты с неумолкающим динамиком городской радиотрансляционной сети, они заходили или как женихи в сопровождении сверкающих торжеством невест, или как свершившиеся отцы, неся на своих мужественных руках пожизненные оковы отцовских забот, или как убитые горем вдовцы, еще не оправившиеся от потрясения, и потому не замечающие, что жизнь не кончилась, земля не опустела, как это показалось им накануне.

Суть же разъяснения была проста: регистрация браков временно сокращена в связи с переоборудованием специального помещения для торжественной регистрации.

– Вам же лучше будет... – как-то подчеркнуто отделяя себя от грядущих радостей новобрачных, без интонации сказала регистраторша.

– Нам нужно сейчас, а не лучше! – строго сказала Мария Адольфовна, пытаясь увидеть глаза государственного человека.

Государственная барышня обернулась, окинула взором нетерпеливую невесту, тень горькой усмешки чуть искривила ее давно нецелованные губы, и она проговорила как о давно известном:

– Вас же будет уже депутат регистрировать, а у меня пойдут только рождения и смерти. Помещение готовится, идет ремонт. Вот видите? – Барышня откровенно помахала исписанными страницами амбарной книги. – Все переносят на август, и никто еще не возмущался. Удивительный народ – вам же делают лучше, а вы еще и не хотите...

Барышня пожала плечами и посмотрела на Владимира Петровича с большой надеждой: «Записывать вас на... двадцать третье августа или еще подумаете?» – явно давая понять, что с такой невестой лично она гарантировать ему супружеское счастье не может. И добавила:

– Если надо так быстро, можно регистрироваться по месту прописки невесты...

Клавдия Степановна извиняюще улыбнулась, Мария Адольфовна округлила глаза и буркнула что-то невнятное, скорее всего по-польски.

Владимир Петрович, не видевший никаких опасностей в назначении регистрации на 23 августа, тем не менее понимал, что надо стоять за своих. Подавив понятное каждому мужчине в подобных обстоятельствах волнение, он овладел собой и, торжественно поименовав полным именем и фамилией свою невесту и себя самого как бы в третьем лице, объявил о желании вступить в брак немедленно, заслужив при этом улыбку ободрения от Клавдии Степановны. Живость и непринужденность, которых так не хватало регистраторше, пробудившиеся было на почве нормального житейского любопытства, вдруг опять оставили ее, и она, не поднимая глаз, погрузилась в то привычное рабочее состояние, в котором важно и строго исполняла свое жизненное предназначение, одинаково чуждая серьезному и смешному.

Нельзя сказать, чтобы регистрация браков под звуки городской радиотрансляции была для достигшей расцвета всех своих сил и свойств регистраторши делом служебным, лишь слегка окрашенным привкусом личной досады. Непрестанное наблюдение граждан в минуты значительных житейских напряжений сделало ее удивительно зоркой, даже будущие счастливые семьи не казались ей похожими друг на друга; по неуловимым штрихам, чертам, черточкам, теням под глазами, брошенным взглядам в сторону, опущенным ресницам с поразительной проницательностью она отмечала про себя неразличимые для счастливых черты грядущих катастроф и потрясений, и некоторая ее сухость, строгость и сдержанность объяснялись, быть может, тем, что в этом же рабочем столе лежал штамп, отмечающий в паспорте факт прекращения брака. Куда больше оживления и участия вызывали у земной помощницы Гименея странные браки, каковых происходит чуть ли не каждую неделю немало: заходили расписываться как бы между прочим, прихватив «свидетелей» чуть не здесь же, в коридоре, из неиссякаемой очереди в бюро по жиллобмену, заходили с авоськами и портфелями, в уличных сапогах, заходили втроем, когда неведомый устроитель семьи готовился покинуть материнское чрево, приходили слегка под мухой, будто женились на спор, непрестанно хохоча; особенно острые ощущения, памятные на целый день, а иногда и больше, оставляли причудливые соединения в браке людей, совершенно несходных, очевидно несходных статью, возрастом, манерой... И хотя регистрация старичков, как наш случай, не была уж такой особенной редкостью, но все-таки принадлежала к тем обстоятельствам наблюдаемой со стороны жизни, которые придавали ее собственному существованию остроту и тревогу. Именно поэтому оставшаяся по собственной воле безмянной сотрудница загса вдруг почувствовала искреннее, сердечное желание сделать все так, чтобы этим старичкам не пришлось еще один месяц – много ли их осталось? – жить не так, как они для себя придумали. Неожиданно ее взгляд упал на открытую страницу регистрационной книги, и она увидела пустую строку, куда можно было вписать регистрацию на завтра. Помехой же на пути немедленного решения вопроса оказалась Клавдия Степановна, она решила пустить в ход все свое немалое обаяние, всю свою лучезарность, всю многолетнюю, практикой подтвержденную способность обращать к себе людей нужной стороной – это-то и сгубило дело.

– Извините... вас зовут?.. – Клавдия Степановна так непринужденно улыбнулась, а голос звучал так легко и открыто, что ни одному человеку в мире не пришло бы в голову, что этот голос и эта улыбка могут усложнить жизнь, омрачить ее или отяготить невозможными просьбами, такая улыбка и такой голос могут только украсить жизнь. – Вас зовут?.. – повторила Клавдия Степановна, предположив, что ее не расслышали.

– Это не имеет значения, – сухо сказала регистраторша и захлопнула книгу, куда могла бы лечь строкой если не счастья, то хотя бы сравнительного благополучия запись про Марию Адольфовну и Владимира Петровича; ее слова и жесты опережали мысль и были подвижны внезапно вспыхнувшим чувством неприязни к этой красивой, благополучной, поблескивающей колечками, одетой, прибранной женщине, пахнущей непростыми духами, и вовсе не потому, что она душилась, отправляясь по важному делу, просто сама ее одежда, волосы, кожа уже впитали в себя неистребимый запах уверенности и довольства... «Это ей нужно, ей, – едва

увидев улыбку Клавдии Степановны, решила регистраторша. – Все есть, так еще что-то придумала... Старичков венчает, ишь что ей понадобилось!»

– Вы же прекрасно видите, я очень хочу вам помочь, я понимаю все... я все понимаю, но помочь не могу... – Голос регистраторши подобрел, в нем зазвучали теплые человеческие тона.

Все трое переглянулись, пожали плечами и двинулись к выходу. Ничего не оставалось, как ждать 23 августа.

Весь визит, вместе с подачей заявления, оформлением промтоварного и продовольственного талонов и беседой, занял ровно четыре минуты.

– Следующий! – крикнула в открытую Владимиром Петровичем дверь регистраторша, устоявшая перед искушением нарушить правила и установленный для всех порядок.

Клавдия Степановна была крайне смущена – цветы, возвращенные в тайниках ее души и выгащенные на свет божий, уже не производили того волнующего впечатления ни на окружающих, ни на нее саму.

23 августа, в четверг, в одиннадцать часов утра Мария Адольфовна и Владимир Петрович сидели в свежотремонтированном и оборудованном мягкими креслами аванзале, предварявшем скромный, но вполне опрятный и строгий зальчик торжественной регистрации. Три группки молодых людей в окружении приятелей и немногочисленной родни не обращали никакого внимания на стариков, по-видимому поджидавших своих внуков. За плотно закрытой двустворчатой дверью слышался марш Мендельсона...

Клавдия Степановна и призванная второй свидетельницей, со стороны жениха, соседка его Екатерина Теофиловна, в свое время даже имевшая виды на Владимира Петровича, оживленно разговаривали. Клавдия Степановна, демонстрируя незаурядную выдержку, даже умудрилась смеяться, шутить, как и полагается на пороге радостного события. Владимир Петрович подробно и с горьким пафосом торопливо рассказывал Марии Адольфовне какой-то фильм, виденный у соседей по телевизору. Суть рассказа сводилась к тому, что идти в кинотеатр и смотреть за деньги такую ерунду было бы обидно, а вот так, между прочим, посмотреть у соседей по телевизору, так вроде и ничего, и картина все-таки с познавательной точки зрения интересная, игра актеров хороша, песня красива и очень красивая любовь интеллигентной женщины и простого рабочего... Мария Адольфовна слушала безучастно, еще не решившая для себя, в какую сторону она двинется, когда призовут войти в торжественный зал, где уже в третий раз за утро прозвучит марш Мендельсона.

Затея, рассчитанная на деловую регистрацию в тесной исполкомовской комнатухе, явно не выдерживала ни всей этой публичности, ни шума, ни звона, ни громких голосов. Словно пробуждаясь, Мария Адольфовна смотрела на все предприятие трезвыми глазами и не думала больше о будущей спокойной жизни.

Наконец дверь в главный зал была распахнута и с его порога знакомая уже регистраторша громогласно объявила:

– Мария Адольфовна Сварецка и Владимир Петрович Гусаров приглашаются пройти в зал для торжественной регистрации брака!

Клавдия Степановна лишь сдержанно кивнула, Владимир Петрович со своими ущербными очками служительницу не узнал, только Мария Адольфовна подступила к ней вплотную с вопросом:

– Вы говорили, что будет депутат?

Регистраторша, совершенно справедливо считая неуместными любые разговоры не по существу, плавным жестом руки указала путь следования к полированному столу с подготовленными уже документами, за которым стояла юная миловидная депутатка райсовета с красной лентой, украшенной гербом республики, через плечо. Депутат искренне и приветливо улыбалась.

Едва за будущими супругами и их свидетелями замкнулись обе створки дверей, как торжественные звуки уже слышанного из-за дверей марша вырвались из незаметно включенного магнитофона, придавая моменту волнующую значительность.

Мария Адольфовна и Владимир Петрович стояли перед столом как провинившиеся дед и бабка, вызванные в школу к завучу, а может, и самому директору начальной школы для серьезного разговора об отставании внука по природоведению и дисциплине.

Незаметным укоризненным кивком Клавдия Степановна дала понять, что музыку прокручивать до конца необязательно.

Депутат мгновенно уловила этот сигнал и почти незаметным движением руки, как бы желая опереться на стол, снизу стола музыку выключила.

Когда вышли из зала, где получили паспорта со штампами и расписались в книге, Клавдия Степановна предложила всем поехать к ним закусить, напирая на то, что ничего особенного не затевается, но посидеть надо.

Екатерина Теофиловна, почитая предложение своевременным и разумным, вопросительно посмотрела на Владимира Петровича.

– Вы поезжайте, а я никак не могу, – торопливо проговорил Владимир Петрович. – Мне к часу надо в амбулаторию. Только-только поспеть осталось времени. Номерок у меня взят...

Владимир Петрович вынул из пухлого бумажника, набитого старыми и новыми рецептами, какими-то счетами и даже вырезками из газет, бумажный амбулаторный номерок, внимательно его на глазах у всех рассмотрел и снова спрятал в бумажник. После этого распрощался и поспешил на трамвайную остановку, зная по опыту, как редко в эту пору после бурной утренней развозки ходят трамваи.

Когда приехали домой вдвоем – Екатерина Теофиловна куда-то тоже заспешила, – Мария Адольфовна, вешая пальто на распялку, буркнула себе под нос, полагая, что ее никто не слышит:

– Хоть бы цветочки купил...

И это все?! Все, что может сказать в решающую минуту своей жизни старая женщина, когда жизнь в последний, быть может, раз отвратила от нее свое лицо? И только эти три слова в упрек жизни, заряженной на всякую минуту дерзостью и оскорблением? Ни стоны, ни гнева, ни слез?.. И где? На земле, взрастившей не одну революцию, а целых три, на земле, где дважды у памятника основателю города прозвучало негромко «ужо!», сначала брошенное безумным Евгением, а ровно через год подтвержденное на том же самом месте безумным выстрелом Каховского.

Нет! В Кунгур! В Кунгур! Гряди же, Мария Адольфовна, как невеста Ливанская, на предуготовленное тебе ложе на кладбище станции Кунгур, где ждет тебя покой, которым нет никакой возможности насладиться.

А что же обещанная жестокость? Неужели напрасно, без результата унижала, давила, сокрушала и оскорбляла пани Сварецку эта неповторимая, огромная, полная песен, прогресса и достижений жизнь, безудержно устремленная к сиятельнейшему будущему, летящая без оглядки на стыд, без почтительности к юности, без жалости к зрелости, без уважения к сединам? Неисправимая, несгибаемая, неумолимая Мария Адольфовна закусилась удилами и в минуту, быть может, последнего унижения не смирилась перед скупостью, перед жадностью жизни на добрый жест, на знак внимания. И нет прощения ни замордованному до ненужности, ни загнанному в угол, если из своего угла он мог протянуть руку с цветами! Мог! И не протянул.

...Но разве это свадьба? Пусть игра! Пусть игра, продиктованная роскошной и неумемной фантазией мироустройства, обращающего мелочную гнусность в правило и порядок. Игра? Но другой у нас нет, и не вина Марии Адольфовны, что она могла играть лишь по правилам чести.



Мария Адольфовна уедет в Кунгур. В общежитии ее место будет тут же освобождено от временно подселенной выпускницы пермского техникума связи. После небольших формальностей, на которые и уйдет-то всего неделька, ей выдадут на почте пенсию аж почти за полгода!

Хорошо и Владимиру Петровичу, вкусившему наконец свою несбыточную мечту в самом полном, то есть идеальном смысле. В оставшиеся ему восемь месяцев жизни на двойных тетрадных листах в линейку он отправит четыре письма в Кунгур. Он проживет не только на бумаге, но и в сердце своем бурную, легкую, слегка пьянящую и свободную пору счастья, не отягощенную и не униженную ничем земным. И здесь остается лишь пожалеть, что чувствам этим суждено было пробудиться и расцвести лишь после отъезда Марии Адольфовны, быть может, и несколько торопливого. Помнится, именно в предпоследнем письме Владимир Петрович кратко и толково от всей полноты чувств излагал план жизни соединенных сердец, и план этот имел черты практические и даже исполнимые.

Пройдут века, и навряд ли в точности будет отыскано место Марии Адольфовны и Владимира Петровича в крутом, грозном и отчасти кровавом прологе грядущей цивилизации, а пока бегством в могилу они норовят ускользнуть от неминуемого светлого будущего.

Позвольте проститься с вами откровенно, читатель, так же откровенно, как и познакомились, без церемоний, мы же люди жестокого века, ведь это мы оскорбляем стариков нищетой и бесправием... и свято храним эту нашу маленькую семейную тайну.

Хорошо Марии Адольфовне, она старая и скоро умрет, а нам с вами жить...

*Ленинград. 1966 г. 1988 г.*